





Владимир ОРЛОВ



АЛЬТИСТ ДАНИЛОВ
АПТЕКАРЬ
ШЕВРИКУКА,
ИЛИ ЛЮБОВЬ К ПРИВИДЕНИЮ

ОСТАНКИНСКИЕ ИСТОРИИ
ТРИПТИХ

ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ
В ОДНОМ ТОМЕ



Издательство
АЛЬФА-КНИГА

Москва
2018

УДК 821.161.1
ББК 84.(2Рос-Рус)6-5
О-66

Серия основана
в 2007 году

Орлов В. В.

О-66 Останкинские истории. Полное издание в одном томе. / — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2018. — 1278 с.: ил. — (Полное издание в одном томе).

ISBN 978-5-9922-2628-7

В одном томе публикуются три самых знаменитых романа известного российского писателя-прозаика Владимира Викторовича Орлова (1936—2014), вошедшие в его цикл «Останкинские истории», — «Альтист Данилов» (1980), «Аптекарь» (1988) и «Шеврикука, или Любовь к привидению» (1997).

УДК 821.161.1
ББК 84.(2Рос-Рус)6-5

© Орлов В. В. Наследники, 2018
© Художественное оформление,
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2018

ISBN 978-5-9922-2628-7

АЛЬТИСТ ДАНИЛОВ

1

Данилов считался другом семьи Муравлевых. Он и был им. Он и теперь остается другом семьи. В Москве каждая культурная семья нынче старается иметь своего друга. О том, что он демон, кроме меня, никто не знает. Я и сам узнал об этом не слишком давно, хотя, пожалуй, и раньше обращал внимание на некоторые странности Данилова. Но это так, между прочим.

Теперь Данилов бывает у Муравлевых не часто. А прежде по воскресеньям, если у него не было дневного спектакля, Данилов обедал у Муравлевых. Приходил он с инструментом, имел для этого причины. Вот сейчас я закрою глаза и вспомню одно из таких воскресений.

...В квартире Муравлевых с утра происходят хлопоты, там вкусно пахнет, в кастрюле ждет своего часа мелко порубленная баранина, купленная на рынке, молодая стручковая фасоль вываливается из стеклянных банок на политые маслом сковороды, и кофеварка возникает на французской клеенке кухонного стола. Ах, какие ароматы заполняют квартиру! А какие ароматы ожидаются! В этот день никакой иной гость Муравлевым не нужен. В особенности Кудасов с женой. Но Кудасов чаще всего и приходит.

На обеды, выпивки и чаепития у Кудасова особый нюх. Стоит ему повести ноздрей — и уж он сразу знает, у кого из его знакомых какие куплены продукты и напитки и к какому часу их выставят на стол. Еще и скатерть не достали из платяного шкафа, а Кудасов уже едет на запах трамвая. Иногда он и ноздрей не ведет, а просто в душе его или в желудке звучит веший голос и тихо так, словно печальная тень Жизели, зовет куда-то. Чувствует Кудасов и то, как нынче будут кормить и поить гостей, и если будут кормить скудно и невкусно, без перца, без пастилы к чаю или без ветчины от Елисеева, то он никуда и не едет. Но насчет обедов для Данилова, да и ужинов и завтраков, тоже у него никаких сомнений нет. Тут все по высшему классу! Тут как бы не опоздать и не дать угощениям остынуть. Тут своему нюху и вешему голосу Кудасов не доверяет, мало ли какие с теми могут случиться оплошности. Он с утра смотрит в афишу театра и догадывается, играет

сегодня Данилов на своем альте или не играет. Весь репертуар Данилова ему известен. Обязательно Кудасов звонит и в театр: «Не отменен ли нынче спектакль?» Кудасов знает, что Данилова будут кормить у Муравлевых и в связи с отменой спектакля.

Кудасов и сам не бедный, он лектор, а вот тянет его кушать на люди. При этом он так устаёт от слов на службе, что за столом становится совершенно безвредным — молчит и молчит, только жуёт и глотает, лишь иногда кое-что уточняет, чтобы чья-нибудь шальная мысль не забежала сгоряча слишком далеко и уж ни в коем случае не свернула за угол. Молчит и его жена, но она неприятно чавкает.

Ни Данилову, ни в особенности Муравлевым Кудасов не нужен, однако они его терпят. Все же старый знакомый, да и нахальству Кудасова никакие препоны, никакие дипломатические хитрости, никакие танковые ежи не помеха. Все равно он придет, извинится и сядет за стол. Как лев у Западного на тумбу. При этом обязательно вручит хозяевам бутылку сухого вина подешевле — совсем уж неловко будет гнать его в шею. Одна радость — съест порции три мясного и тут же за столом засыпает. Ноздрей лишь тихонечко всасывает воздух, а с ним и запахи — как бы чего эдакого, грешным делом, не пропустить. И жена его, деликатная женщина, делает вид, что и она дремлет с открытыми глазами.

А Данилов с Муравлевым потихоньку смакуют угощения.

— Как нынче лобио удалось! — радуется Данилов.

— Ты вот салат этот желтенький попробуй, — спешит в усердии Муравлев, — тут и орехи, и сыр, и майонез.

— Соус провансаль, — поправляет его Данилов, а отведав желтое кушанье, принимается расхваливать хозяйку, как всегда, искренне и шумно.

Хозяйка сидит тут же, краснея от забот, готовая сейчас же идти на кухню, чтобы готовить гостю новые блюда.

И вот является на стол узбекский плов в огромной чаше, горячий, словно бы живой, рисинка от рисинки в нем отделились, мяса и жира в меру, черными капельками там и сям виднеется барбарис, доставленный из Ташкента, и головки чеснока, сочные и сохранившие аромат, выглядывают из желтоватых россыпей риса. А дух какой! Такой дух, что и в кишлаках под Самаркандом понимающие люди наверняка теперь стоят лицом к Москве.

Кудасов, естественно, приходит в себя и получает миску плова с добавкой. Теперь он может спать совсем или идти еще куда-нибудь в гости, не дожидаясь кофе.

— Ну вот, — говорит Муравлев Данилову, накладывая тому последнюю порцию плова, — а ты два года мучил себя и нас своим вегетарианством!

— Мучил, — соглашается Данилов. И добавляет печально: — А мне их и сейчас жалко... И этого вот барашка... И мать его осталась теперь одна...

— Глупости... Метафизика... — просыпается Кудасов. — Вы, наверное, все семинары по вечерам пропускаете.

— Это вы зря, Валерий Степанович, — тут же грудью встает на защиту Данилова хозяйка. — Напротив, Володя ходит на все семинары!

— А мать-то этого плова, — добавляет Кудасов, — давно уж ушла в колбасу. И нечего о ней жалеть.

— Зачем вы так... — кротко говорит Данилов.

Но приходит время чая и кофе — и все печали тут же рассеиваются. Над чаем и кофе в доме Муравлевых обряд совершает сам Данилов. Чай он готовит и зеленый и русский, кофейные же зерна берет только с раскаленной аравийской земли, а бразильские надменно презирает, находя в их вкусе излишнее томление и кисло-горький оттенок. Каждый чай по науке Данилова должен иметь свою степень цвета — и русский, и зеленый, а уж о кофе не приходится и говорить, и Данилов доктором Фаустом из сине-черной оперы Гуно (играл ее в среду, Фауста пел Блинников и в перерыве после второго акта проспорил Данилову в хоккейном пари бутылку коньяка) стоит на кухне над газовой плитой. И вот он молча приносит к столу на жостовских подносах чайники и турки, и гости с хозяевами пьют божественные напитки, кто какой пожелает.

— Ну как? — робко спрашивает Данилов.

— Прекрасно! — говорит Муравлев. — Как всегда!

Потом Данилов с хозяевами сидит в полумраке, вытянув худые длинные ноги в стоптанных домашних тапочках Муравлева, и в блаженной полудреме слушает пластинку Окуджавы, купленную им в Париже на бульваре Сен-Мишель за двадцать семь франков. Или ничего не слушает, а напевает куплеты Бубы Касторского из «Неуловимых мстителей», куплеты эти он ставит чрезвычайно низко, но отвязаться от них не может. Он так и засыпает в кресле, не ответив на реплику Муравлева о строительстве в Набережных Челнах, он очень устает — играет и в театре и в концертах, он должен платить много денег — за инструмент и за два кооператива. Хозяйка подходит к нему, поправляет подтяжку, съехавшую с острого плеча, укутывает Данилова верблюжьим одеялом, смотрит на него душевным материнским взором, вздыхает и уходит из столовой, не забыв погасить свет...

Но опять скажу: так было. Сейчас Данилов обедает у Муравлевых редко. Раз в месяц. Не чаще...

2

Не бывает теперь Данилов и в собрании домовых. А раньше Данилов после спектаклей иногда приходил в дом с башенкой на Аргуновской улице, где по ночам, при жэке встречались останкинские домовые. Сам Данилов не домовый, но был прикреплен к домовым.

Некоторые домовые были ему приятны. Домовой Велизарий Аркадьевич, смешной старик из особняка в стиле модерн, считающий, что он целиком состоит из высокой духовности, питал к Данилову слабость. Как одинокий жиздринский пенсионер к блестящему столичному племяннику. Когда Велизарий Аркадьевич пребывал в меланхолии, он тихо просил Данилова напеть ему стансы Нилаканты. И Данилов, добрая душа, ему не отказывал. С домовым Федотом Сергеевичем из разрушенных палат семнадцатого века Данилов часто спорил об архитектуре. Федот Сергеевич сердился, когда Данилов защищал Гропиуса и Сааринена, говорил ему: «Ах, бросьте, они скучны и убоги, все их балки и линии не стоят одного нашего коробового свода!», но потом выходило, что взгляды у спорщиков схожие. Артем Лукич, самый сознательный в доме на Аргуновской и признанный авторитет, хотя и видел в Данилове чужака, однако и он относился к Данилову с уважением.

Спать однажды чуть было не полез скандалить с Даниловым Георгий Николаевич из двадцать пятого дома. «Да я таких! — шумел он. — Лезут всюду разные!.. С бородами!» Но Георгий Николаевич тут же был вынужден вспомнить, что он домовый, а Данилов не домовый, а только прикреплен к домовым.

Георгий Николаевич вообще оказался дурной личностью. Данилов был на гастролях в Ташкенте, когда домовый Иван Афанасьевич, превратившись в нечто прозрачное и зеленое, с хрустальным звоном взлетел в останкинское небо и был унесен туда, откуда возврата нет. Данилов услышал о случившемся, расстроился. Он любил Ивана Афанасьевича. Данилов и Екатерину Ивановну знал, встречал ее у Муравлевых и не раз танцевал с ней и джайв и казачок. Он и подумать не мог, что Иван Афанасьевич страдал по Екатерине Ивановне.

Иван Афанасьевич не имел права любить земную женщину. Потому его и не стало. Но все бы и обошлось, если бы не Георгий Николаевич. Тот в судьбе Ивана Афанасьевича сыграл мерзкую роль. Георгию Николаевичу бы после всего голову в плечи вжать и где-нибудь у себя в доме отсиживаться в телефонной трубке между углем и мембраной или сухим листиком съезжиться на зиму в гербарии третьеклассника, а он по-прежнему ходил в собрание домовых и держал себя чуть ли не героем. Мол, что я сделал, то и сделал, и мне еще за это спасибо скажут, а ваша собачья забота меня уважать и пить со мной виски. И с ним пили виски, молчали, а пили. «Скотина! — думали. — Была бы наша воля, мы бы тебя...», но пили, полагая, что ведь действительно Георгию Николаевичу спасибо скажут. А может быть, уже и сказали. Тихо стало на Аргуновской. Зябко даже. Словно озноб какой нервный со всеми сделался. Или будто грустный удушенник начал к ним ходить.

И вот вернулся с ташкентских гастролей Данилов. Давно не был у домовых. Решил зайти. Дыни бухарские привез и шкуры каракумских варанов, сначала высушенные, а потом замоченные в соке гюрзы. До-

мовые брали угощения, а жевали их, и не только влажные ломтики дынь, но и каракумские деликатесы, вяло, словно бы из вежливости. Не было ни у кого аппетита. Один Георгий Николаевич проглатывал все шумно и со слюной. Рассказали Данилову, в чем дело. Через день Данилов явился в собрание прямо со спектакля «Корсар» в утоженном фраке с бабочкой и с черным чемоданчиком. Он и всегда был красив, а тут выглядел прямо как молодой Билибин с картины Кустодиева. С застенчивой своей улыбкой и чуть ли не торжественно стал он со всеми здороваться, а когда Георгий Николаевич протянул ему руку, Данилов свою руку отвел. Все так и замерли.

— Вы что, мной брезгуете, что ли? — спросил Георгий Николаевич с вызовом.

— Нет, — сказал Данилов. — Просто я соблюдаю правила гигиены.

— Что же, я заразный?

— Да, — сказал Данилов. — Вы заразный.

— Я больной, что ли? — растерялся Георгий Николаевич.

— Вы больной, — сказал Данилов. — Вы больны гриппом. К тому же вы перенесли на ногах холеру восемьсот сорок четвертого года. А бациллы ее, как известно, десятилетиями могут жить даже во льду. Ну холера ладно, оставим ее. А вот грипп в этом году дает тяжелые осложнения.

Тут Данилов открыл чемоданчик, достал оттуда свежую марлевую повязку и не спеша в тишине завязал на затылке шелковые тесемки. Повязка накрахмаленной паранджой закрыла ему нос, рот и бороду, но и в ней он остался красив. Домовые, незаметно отодвинувшиеся от Георгия Николаевича, бросились теперь к Данилову, и каждого из них Данилов оделил марлевой повязкой.

— А мне? — жалостливо попросил Георгий Николаевич.

— А вам не надо, — сказал Данилов.

Георгий Николаевич опустил на стул и заплакал.

— Что же вы плачете? — сказал Данилов. — Вам лечиться надо.

— У меня друг погиб... растворился там, — Георгий Николаевич пальцем вверх указал, — мне тяжело, а вы надо мной издеваетесь...

— Какой, простите, друг?

— Ваня... Иван Афанасьевич... Мы с ним юность вместе провели на Третьей Мещанской за церковью Филиппа Митрополита... Мы в жмурки вместе играли... Он под конец жил неправильно... Я ему правду в глаза говорил... И все равно он мне был другом. А вы надо мной издеваетесь... Стыдно вам потом будет...

— Полно, Георгий Николаевич, — сказал Данилов. — Не были вы другом Ивану Афанасьевичу. Оттого его нет, что вы никому другом быть не можете.

Тут Георгий Николаевич вскочил, со злыми, сухими уже глазами бросился к Данилову, ручищами своими схватил Данилова за суконные отвороты фрака и дернул их так, что нитка, хоть и была от хорошего портного, все равно затрещала, а в иных местах и поехала.

— Выдал! Выдал себя! — кричал Георгий Николаевич. — Из-за него, из-за слюнтя этого весь спектакль затеял! Ничего ты мне не сделаешь! Я — правильный домовой! Я и тебя за сегодняшнюю вольность скручу в бараний рог!

— Уберите руки, — сказал Данилов, и Георгий Николаевич отлетел мгновенно к стене напротив, опрокинув при этом стол для бриджа.

— Я на тебя управу найду! — все еще кричал Георгий Николаевич. — Раз ты к нам, к мелким тварям, ходишь, значит, ты из демонов разжалованный! Наказали тебя, и я уж знаю за что!

Не был Данилов способен на мелкую месть, а тут взволновался, не смог сдержать себя, и Георгий Николаевич сейчас же, прямо у стены, заболел австралийским гриппом. Он начал чихать, температура в Георгии Николаевиче подскочила до предельной черты, брожение сделалось в крови и во всякой прочей жизненной жидкости, газообразные вещества стали оседать в нем голубыми кристаллами, а из носа потекло.

Еле нашел в себе силы Георгий Николаевич удалиться из общества в спасительную конуру, обернулся на пороге и прошептал:

— Это тебе дорого обойдется...

Данилов тихонько развязал тесемки на затылке, сложил повязку аккуратно и торжественно, словно японские офицеры в присутствии императора флаг на закрытии зимних игр в Саппоро, и убрал ее в чемодан. И все домовые снимали повязки. Один Велизарий Аркадьевич, стесняясь, сказал, что хотел бы поносить материю еще неделю.

Не то чтобы все повеселели, а как-то просветлели, словно пути какие скинули с затекших рук. Подходили поодиночке к Данилову, говорили шепотом: «Спасибо вам... Вам-то можно было его оконфузить...» Шалопаи из блочных домов на электрогитарах заиграли композиции Маккартни и Леннона. И скоро в разговорах стало выясняться, что если бы сегодняшнее не произошло, то через день, через два Георгия Николаевича из собрания бы непременно выгнали. Шалопаи говорили, что они этого консерватора Георгия Николаевича рассчитывали завтра же отправить в плавание по системе канализации двадцать пятого дома. Жизнерадостный нахал Василий Михайлович тот прямо заявил: «Я-то чуть-чуть замешкался, а то уж сейчас же бы, через две минуты этого неверного друга под зад бы коленом! Сменную обувь бы на месяц послал его протирать в соседнюю школу!» Артем Лукич и даже Константин Игнатьевич с Таганки, домовый в собрании случайный, но как бы и свой, смотрели на Данилова дружелюбно, словно он с них кружевной перчаткой, как клопа, снял ответственность.

Сам же Данилов был опечален оттого, что взволновался и не смог сдержать себя. И само по себе это было нехорошо, но главное — даже мелкий жест его должен был принести теперь беды ни в чем не повинным существам, а приостановить что-либо Данилов был уже не в силах. С ним это случилось. Не так давно Муравлевы отправились на выходные дни в Планерскую, в хороший дом отдыха. Но в Планерской

Муравлеву не понравилось, он ругал жену, заманившую его за город редкими путевками, ругал местную кухню, а ночью, почувствовав сердечным боком пружину матраца, пробормотал в полудреме: «Чтоб он сторел, этот дом отдыха!» Данилов находился далеко, но он был вольный сын эфира и принимал любую звуковую и душевную волну. И слова Муравлева тотчас дошли до него мольбой приятеля освободить его от незаслуженных мук. Подумать Данилов ни о чем не успел, но от одного лишь его сострадания Муравлеву флигель в Планерской вспыхнул. Муравлев в ужасе спасал припасенную на завтра бутылку «Экстры», сын его Миша дрожал, прижав к груди казенные лыжи, а жена Тамара мужественно швыряла в чемоданы семейные вещи и припасы. Всю ночь погорельцы провели на снегу, теперь Муравлев ругал не только жену, но и пьяных электриков, работавших днем на чердаке флигеля. Данилов страдал, но флигель восстановить уже не мог.

Вот и теперь он не ждал добра. И точно, австралийский вирус, возникший в Георгии Николаевиче, оказался таким сильным, что весь двадцать пятый дом назавтра заболел. И гипсовая Грета в Останкинском парке, девушка с лещом под мышкой, предмет тайной страсти Георгия Николаевича, стала чихать, распугивая публику, да так, что в шашлычной напротив шампуров подпрыгивали в электромангалах и гнулись. Домовые в собрание на Аргуновскую приходили уже в повязках и смазав носы пироксилиновой мазью, усиленной порохом. Велизарий же Аркадьевич, по мнительности и начитавшись газет, решил месяца на два под видом степной черепахи впасть в спячку и переждать эпидемию.

Данилов опять страдал и не знал, что делать. К Муравлевым после пожара в Планерской он стыдился заходить, а они ни о чем и не подозревали. Звали его, но он отказывался, находил причины. Думал: «Нет, все! Это в последний раз! Неужели я не умею властвовать собой? Ну осадил бы Георгия Николаевича, а зачем устраивать чих и кашель!» Он даже подбросил ценные пилюли Георгию Николаевичу, какие могли помешать австралийскому вирусу. А это было против правил. Но и когда грипп стих, Данилов не успокоился.

И тут в собрании на Аргуновской появился новый домовый, посланный в двадцать первый дом на пустовавшее три месяца после улета Ивана Афанасьевича место.

3

Звали его Валентин Сергеевич, он носил пенсне на платиновой цепочке, в разговоре, удивляясь каким-либо словам собеседника, например, о том, что рыба протоперус, выйдя из аквариума, может зарезать среднюю кошку, откидывал голову назад и произносил пронзительно: «Це! Це! Це! Це!» В звуках этих действительно было удивление,

но имелось и еще нечто, что пугало или по крайней мере настораживало. Шалопаи, получавшие телевизионное образование, сначала из-за пенсне прозвали его меньшевиком, но потом отчего-то стали попритерживать язык. Старожилы Валентину Сергеевичу указывали на то, что приходить в собрание должно в клубном кафтане, а не в немодной куртке, но Валентин Сергеевич будто бы этих слов не слышал, и разговоры про его куртку затихли.

Валентин Сергеевич оказался егозой. Мелким скоком он перебежал от одной компании к другой, играя в карты или шашки, все время ерзал и смущал противника напористым своим: «Це! Це! Це! Це!» Да и вообще садиться с ним за стол или за доску выходило делом скверным, все он выигрывал. История жизни Валентина Сергеевича останкинским старожилам была неизвестна, выяснили только из личного дела, что новичок раньше служил где-то возле Колхозной площади. А там был дом Брюса. Генерал-фельдмаршал Петра Великого Брюс Яков Вилимович числился же, как известно, чернокнижником и алхимиком, у него и в июльскую жару гости катались на коньках, а папи и флюиды от Брюсовых тиглей и сосудов могли протушить на долгие века ближайшие к его дому кварталы. Как бы и от Валентина Сергеевича не пришлось увидеть странностей. А вдруг чего и похуже. Может, и цепочка-то к пенсне досталась Валентину Сергеевичу от тех алхимий. Призадумались на Аргуновской умные головы. Неспроста, решили, появился Валентин Сергеевич в их мирном собрании.

Данилов долго не ходил в собрание домовых, ему хватало людских забот. Но однажды зашел и сразу почувствовал, что между ним и Валентином Сергеевичем возникла некая связь. «А ведь он имеет что-то ко мне», — сказал себе Данилов. Он не подходил к Валентину Сергеевичу, полагая, что тот сам не выдержит и обнаружит себя. Но Валентин Сергеевич, видно, был натурой терпеливой и волевой, а может, и не сам он управлял своими поступками. Он вертелся, скакал невдалеке от Данилова, но к Данилову будто бы приблизиться не смел, как титулярный советник к генеральской дочери. Однако в его взгляде Данилов иногда замечал и уверенность в себе и чуть ли не сознание превосходства. «Экий гусь!» — думал Данилов. Теперь он уже считал, что Георгию Николаевичу указал на дверь не зря. Теперь, пожалуй, Данилов был сердит, и не то чтобы азарт, а некое будоражащее душу ожидание приключения поселилось в нем.

Наконец Валентин Сергеевич подошел к нему, предложил сыграть в шахматы. «А то меня почему-то все стали побаиваться...» — сказал он, как бы смущаясь. Данилов сел с ним за стол и скоро понял, что игрок Валентин Сергеевич — сильный. Данилов даже засомневался: играть ли ему против Валентина Сергеевича в силу домового или взять разрядом выше. И все же он решил играть в силу домового, посчитав, что иначе они с Валентином Сергеевичем будут не на равных. Но ходов через десять Данилов понял, что Валентин Сергеевич может выступать и лигой выше. Данилов поднял голову и посмотрел на сопер-

ника внимательно. Стеклашки пенсне Валентина Сергеевича излучали удивительный зеленоватый свет, отчего в голове у Данилова началось выпадение мыслей. «Ах вот ты как! — подумал он. — Да тебе эдак против Фишера играть... А я вот против твоих световых фокусов включу контрсистему...» Он включил контрсистему и двинул белопольного слона вперед.

Раздался электрический треск. Валентин Сергеевич запрыгал на стуле, ладонями застучал по краю стола, и Данилов понял, что поставит мат ястребу останкинских шахматных досок на тридцать шестом ходу.

— Здесь принято играть в силу домовых, — сказал Данилов. — Нарушение вами правил может быть превратно истолковано.

— Вы... вы! — нервно заговорил Валентин Сергеевич. — Вы только и можете играть в шахматы и на альте. Да и то оттого, что купили за три тысячи хороший инструмент Альбани. С плохим инструментом вас бы из театра-то выгнали!.. А на виоль д'амур хотите играть, да у вас не выходит!..

Данилов улыбнулся. Все-таки вывел Валентина Сергеевича из себя. Но тут же и нахмурился. Какая наглость со стороны Валентина Сергеевича хоть бы и мизинцем касаться запретных для него людских дел!

— Что вы понимаете в виоль д'амур! — сказал Данилов. — И не можете вы говорить о том, чего вы не знаете и о чем не имеете права говорить.

— Значит, имею! — взвизгнул Валентин Сергеевич.

Он тут же обернулся, но домовые давно уже забились в углы невеселой нынче залы, давая понять, что они и знать не знают о беседе Данилова и Валентина Сергеевича.

— Вы нервничаете, — сказал Данилов. — Так вы получите мат раньше, чем заслуживаете по игре.

Он и сам сидел злой. «Стало быть, только из-за хорошего инструмента меня и держат при музыке, думал, и виоль д'амур, стало быть, меня не слушается, ах ты, негодяй!» Но на вид был спокойный.

— Значит, вы сочувствующий Георгию Николаевичу, — сказал Данилов, забирая белую пешку.

— Не угадали, Владимир Алексеевич! — рассмеялся Валентин Сергеевич. — Известно, что вы легкомысленный, но уж тут-то могли бы понять... Что нам с вами Георгий Николаевич? Он — правильный домовой. Но он мелочь, так, тьфу! Заболел, ну и пусть болеет. Из-за друтого к вам интерес! Если это можно назвать интересом...

— А вы-то что суетитесь?

— Я давно о вас слышал. Раздражаете вы меня. Мучаете. Невысокий вы рангом, да и незаконный родом, а позволяете себе такое... Я о вас слушал и чуть ли не плакал. «Да и есть ли порядок?» — думал.

— Ну и как, есть?

— Есть, Владимир Алексеевич, есть! Вот он!

И тут Валентин Сергеевич чуть ли не к лицу Данилова поднес руку, разжал пальцы, и на его ладони Данилов увидел прямоугольник лаковой бумаги, похожий на визитную карточку, с маленькими, но красивыми словами, отпечатанными типографским способом. Прямоугольник был повесткой, и Данилов ее взял.

— Прямо как пираты, — сказал Данилов. — Еще бы нарисовали череп с костями, и была бы черная метка.

— Не в последний ли раз вы смеетесь?

— А вы что, карателем, что ли, сюда прибыли?

— Нет, — словно бы испугавшись чего-то, быстро сказал Валентин Сергеевич. — Я — курьер.

— Вот и знайте свое место, — сказал Данилов.

— Какой вы высокомерный! — снова взвизгнул Валентин Сергеевич. — Я личность, может, и маленькая, но я при исполнении служебных обязанностей, да и вам ли нынче кому-либо дерзить! Вам ведь назначено время «Ч»!

Багровыми знаками проступило на лаковом прямоугольнике явление времени «Ч», и Данилову, как он ни храбрился, стало не по себе. «Но, наверное, это не сегодня, и не завтра, и даже не через месяц!» — успокаивал он себя, глядя на повестку. Однако не было в нем уже прежней беспечности.

— Ваш ход, — сказал Валентин Сергеевич.

— Да, да, — спохватился Данилов.

Он поглядел на доску и увидел, что у Валентина Сергеевича слева появилась ладья, какую он, Данилов, семью ходами раньше взял. Он взглянул на записи ходов и там обнаружил собственным его почерком сделанную запись хода, совершенно не имевшего места в действительности, но оставлявшего ладью белых на доске. Данилов забыл о повестке, стерпеть такое жульничество он не мог! Испепелить он готов был этого ловкача, осмелевшего от служебной удачи! Но тут Данилов на мгновение вспомнил о пожаре в Планерской и эпидемии гриппа, подумал, что Валентин Сергеевич, может быть, нарочно вызывает его на скандал, и употребил по отношению к чувствам власть. Не то вдоль Аргуновской улицы тянулись бы теперь черные и пустые места с обугленными пнями. Лукавая мысль явилась к Данилову. «А дай-ка я ему еще и слона отдам, просто так, — решил он, — а там посмотрим...» Валентин Сергеевич схватил с жадностью подставленного ему слона, как троллейбусная касса медную монету. Но тут же он спохватился, поглядел на Данилова растерянно и жалко, захолопал ресницами, крашенными фосфорическими смесями:

— Вы совсем меня не боитесь, да? Вы меня презираете? Зачем вы опять мучаете-то меня?!

«Что это он? — удивился Данилов. — Нет у меня никакой плодотворной эндшпильной идеи, слона я отдаю ни за что».

— Не выигрывайте у меня! — взмолился Валентин Сергеевич. — Не губите, батюшка! Я ведь вернуться не смогу! Я на колени перед вами встану! Помилуйте сироту!

Данилову стало жалко Валентина Сергеевича. Он сказал:

— Ну хорошо. Принимаю ваше предложение ничьей!

— Батюшка! Благодетель! — бросился к нему Валентин Сергеевич, руки хотел целовать, но Данилов, поморщившись брезгливо, отступил назад.

Валентин Сергеевич выпрямился, отлетел вдруг в центр залы, захотел жутким концертным басом, перстом, словно платиновым, нацелился в худую грудь Данилова и прогремел ужасно, раскалывая пивные кружки, запертые на ночь в соседнем заведении на улице Королева:

— Жди своего часа!

Он превратился в нечто дымное и огненное, с треском врезавшееся в стену, и исчез, опять оставив двадцать первый дом без присмотра. Домовые еще долго терли глаза, видно, натура Валентина Сергеевича при переходе из одного физического состояния в другое испускала слезоточивый газ.

«Ну и вкус у него! — думал Данилов, глядя на опаленные обои. — И чего он так испугался жертвы слона? Странно... А ведь бас-то этот кажется мне знакомым...»

Он опять ощутил на ладони лаковый прямоугольник повестки. И опять проступили багровые знаки. «Скверная история», — вздохнул Данилов. Хуже и придумать было нельзя...

4

Данилов набрал высоту, отстегнул ремни и закурил.

Курил он в редких случаях. Нынешний случай был самый редкий.

Под ним, подчиняясь вращению Земли, плыло Останкино, и серая башня, похожая на шампур с тремя ломтиками шашлыка, утончаясь от напряжения, тянулась к Данилову.

Данилов лежал в воздушных струях, как в гамаке, положив ногу на ногу и закинув за голову руки. Ни о чем не хотел он теперь думать, просто курил, закрыв глаза, и ждал, когда с северо-запада, со свинцовых небес Лапландии, подойдет к нему тяжелая снежная туча.

В Москве было тепло, мальчишки липкими снежками выводили из себя барышень-ровесниц, переросших их на голову, колеса трамваев выбрызгивали из стальных желобов бурую воду, крики протеста звучали вослед нахамившим таксистам, обдававшим мокрой грязью публику из очередей за галстуками и зеленым горошком. Однако, по предположениям Темиртауской метеостанции в Горной Шории, именно сегодня над Москвой теплые потоки воздуха должны были столкнуться с потоками студенными. Не исключалась при этом и возможность зимней грозы. Данилов потому и облюбовал Останкино, что оно испокон

веков было самым грозovým местом в Москве, а теперь еще и обзавелось башней, полюбившейся молниям. Он знал, что и сегодня столкновение стихий произойдет над Останкином. От нетерпения Данилов чуть было не притянул к себе лапландскую тучу, но сдержал себя и оставил тучу в покое.

Она текла к нему своим ходом. И тут Данилов ощутил некий сигнал. Сигнал был слабый, вялый какой-то, не было в нем ни просьбы, ни вызова неземных сил. Однако Данилов заволновался, посмотрел вниз и определил, что сигнал исходит от тридцатишестилетнего мужчины в нутриевой шапке, стоявшего у входа в Останкинский парк подле палатки «Пончики». Мужчина был виден плохо, Данилов включил изображение, осмотрел мужчину и заглянул ему в душу. Оказалось, что мужчина этот, только что выпивший стакан кофе и съевший горячий, мнущийся пончик, приехал сюда троллейбусом из больницы и должен был теперь пересесть на трамвай. В больницу же его вызвали утром неожиданно и сказали, что отец его находится на грани жизни и смерти, спасти его может только операция, и то, если ее делать теперь же, а не через час. В полубреду больной от операции отказывался, и сын его написал расписку, разрешая операцию, с таким чувством, словно сам сочинял отцу смертный приговор. Потом он сидел три часа внизу и ждал. Операция прошла удачно, но жизнь отца все еще оставалась в опасности. Мужчине и раньше было нехорошо, а теперь, когда напряжение спало, его била нервная дрожь и тошнило. Тогда он подумал: «Сейчас бы стакан водки — и все!» Мысль эту Данилов понял.

Данилов опять посмотрел на тучу и покачал головой. Туча еле ползла. Данилов вздохнул и спустился на скользкий асфальт. К мужчине в нутриевой шапке он решил подойти не сразу. Данилов и всегда с неким волнением знакомился с новыми людьми, а этот мужчина был интеллигентного вида и тихий, учитель географии по профессии, и неизвестно еще, как он мог отнестись к появлению Данилова.

— Холодно, — сказал Данилов, улыбаясь от смущения.

— Да, зябко, — кивнул мужчина.

Помолчали.

— Не кажется ли вам, — сказал Данилов, — что вон те новые дома на Аргуновской совершенно не гармонируют ни с башней, ни тем более с Шереметевским дворцом?

Мужчина удивленно поглядел на Данилова, поглядел на дома и сказал:

— Это еще не самые худшие дома...

— Не уверен, — сказал Данилов и, помолчав опять, начал скороговоркой, робея и от робости заикаясь: — Вы меня извините, у меня к вам нижайшая просьба, вы можете послать меня куда угодно, но выслушайте сначала меня... У меня тяжело на душе... Мне сейчас выпить надо... А один я не могу. Не могли бы вы составить мне компанию?

— То есть как? — растерялся мужчина.

— У меня все есть, — сказал Данилов. И достал из кармана пальто начатую бутылку водки и стакан. — Вы, если не желаете, хоть только постойте рядом со мной...

— Ну что ж, — неуверенно сказал мужчина, — если вам нужно, чтобы я постоял...

— Вот и спасибо! — обрадовался Данилов. — Только давайте отойдем отсюда вон за тот забор. А то не ровен час — милиция или женщины-дружинницы. И по десятке сразу возьмут, и письма отправят на работу.

Они зашли за коричневый забор бывшего рынка и встали возле мусорной ямы. Данилов предпочел бы сейчас достать из пальто бутылку бургундского, или коньяка, или зелено-лукавого шартреза из монастырских подвалов Гренобля, водку он пить не хотел, тем более возле мусорной ямы, но что ему оставалось делать! Выпив свою долю, Данилов наполнил стакан, бросил бутылку и протянул стакан мужчине:

— Вот, пожалуйста, примите... Я больше не могу... Но не пропадать же добру!..

— Нет, нет, нет! Что вы! — заговорил мужчина, однако стакан взял и водку одним махом выпил.

Данилов протянул ему яблоко закусить и, заметив, как тот провожал взглядом стакан, сказал:

— А больше стакана вы и не хотели.

— Что? — как бы очнулся мужчина и поглядел на Данилова испуганно.

— Нет, нет, это я так, — быстро сказал Данилов.

Тут Данилов почувствовал, что самая пора им расстаться, мужчина сейчас мог пуститься в откровения, и в этом ничего плохого не было бы, но на завтра мужчина этот сам стал бы каяться и казнить себя за то, что открыл душу первому встречному и пил с ним водку, хорошо хоть еще документы не показывал и не давал своего телефона. Данилов решительно извинился перед мужчиной, сказал, что опаздывает, и быстро пошел в сторону парка. Зайдя за пустой рыночный павильон, он взлетел в останкинское небо и опять, расслабив тело, разлегся в воздушных струях в ожидании тучи.

Теперь он был спокойнее и даже стал насвистывать мелодию из «Хорошо темперированного клавира» Баха. Туча проплывала уже над Клином и домиком Петра Ильича и через час должна была достигнуть московских застав. Терпеть больше Данилов не мог, он не любил вынужденного безделья, да и сладость предстоящих удовольствий манила его. Он сорвался с места и полетел из теплых струй навстречу туче. Над станцией Крюково он врезался в темную, влажную массу и, разгребая руками лондонские туманы нижнего яруса тучи, стал подниматься на самый верх ее к взблескивающим ледяным кристаллам. Там он вытянулся и начал сам преобразовываться в ледяные кристаллы, принимая их же положительный заряд. Ему и теперь было хорошо, он не

торопил тучу, а она упрямо теснила теплый фронт воздуха, намереваясь дать в небе над Останкином генеральное сражение.

Минут через двадцать они уже были над Останкином. Тут и началось! Все в туче пришло в движение, задрожало, занервничало, забурлило, сила лихая ощутила в себе способность к взрыву. Где-то внизу холодный воздух уже столкнулся с теплым, и вот наконец движение дошло до льдистого покрывала тучи, а стало быть и до Данилова, и он вместе с другими кристаллами льда ринулся вниз, чтобы там, внизу, превратиться в водяные пары. Ринулся без оглядки, отчаянно, теряя в загульном падении ионы и приобретая отрицательный заряд. «Хорошо-то как! — думал Данилов, ощущая в себе пронзительную свежесть нового заряда. — Ах как хорошо!» Но он помнил, что это только начало.

И тут он не удержался, а, махнув на все рукой, позволил себе сорничать — противу правил оделил себя еще и положительным зарядом, и теперь два заряда жили в нем, никак, по воле Данилова, друг с другом не взаимодействуя, и Данилов в суете электрического движения несся, блаженствуя, но и рискуя потерять навсегда душевные свойства.

А свободные электроны уже стекали из тучи со скоростью сто пятьдесят километров в секунду на землю, пробивая в воздухе канал для молнии и для Данилова. Данилов почувствовал, что рисковать хватит, и испустил из себя положительный заряд. Как только канал для молнии был пробит, туча совсем задрожала. Крутою и гладкой дорогой, открытой теперь для движения, отрицательные заряды полетели вниз со скоростью в десятки тысяч километров в секунду, и Данилов вместе с ними понесся к земле на самом острие молнии, завывал, гремел от восторга. И с голубыми искрами ухнул, врезался в стальную иглу громоотвода Останкинского дворца. Но не ушел в землю, не нейтрализовался и не исчез, а, оттолкнувшись от иглы, словно бы отброшенный ею, с артиллерийским грохотом взвился в небо, да так бурно, что сразу же был бы неизвестно где, если бы не обуздал себя, не опрокинул обратно в тучу. Данилов и теперь мог лететь куда собрался, но он знал, что в туче есть еще силы на два или три разряда, и он не смог отказать себе в удовольствии еще три раза искупаться в молнии. И вот он опять и опять падал с молнией на землю, кувыркаясь и расплескивая искры. А однажды в безрассудстве упоения бурей, ради губельных и сладких ощущений, нейтрализовался на миг и все же успел вернуться в свою сущность. Дважды опять он попадал в стальную иглу, а в третий раз, увлекшись, промазал и расщепил старый парковый дуб возле катальной горки. Тут и опомнился.

«Хватит! — сказал себе Данилов. — Все. Надо остановиться. Дубу-то зачем страдать...» И отскочил в небо, оставив внизу выстуженную теперь Москву, что, впрочем, и было предопределено прогнозом Тирмтауской метеостанции.

Скорость его была уже хороша, даже слишком хороша для нынешнего столь ближнего полета, да и сам Данилов чувствовал себя сейчас

опьяненным, он захотел перевести дух. Собственно говоря, в грозе как в подсобном для разгона средстве не было у Данилова никакой необходимости. Он и так мог улететь куда хотел. Но вот привык к купаниям в молниях. Да еще не в шаровых и не в ленточных, а именно в линейных. Да еще с раскатистым громом. Стыдил иногда себя, упрекал в непростительном пижонстве, но вот не мог, да и не хотел отказаться от давней своей слабости. Как, впрочем, и от многих иных слабостей. Но если раньше, в юношескую пору, Данилов сам устраивал грозы и, блаженствуя в их буйствах, ощущал себя неким Бонапартом, командовавшим сражением стихий, то нынешнему Данилову быть причиной жертв и бедствий натура не позволяла. Теперь он поджидал гроз естественных, дарованных ему и людям природой, и не был в них уже Бонапартом, а был кристаллами льда и водяными парами, оставаюсь, впрочем, и самим собой.

Отдышавшись, Данилов показал себе рукой направление. И куда показал, туда и полетел. Было у него в Андах место успокоения.

Но в движении он почувствовал некий стеклянный зуд во всем теле, да и слуху его что-то мешало и хотелось чихать. Данилов остановился, выковырнул из ушей серую мерзость, включил пылесосы и очистители, вытряс из себя песок, мелко истолченное в ступе стекло и капитанский трубочный табак. Кто-то нарочно и со зла напихал в тучу стекла и табаку, а Данилов в своих купаниях ничего и не заметил. Неужели это Валентин Сергеевич постарался? Но тогда выходило, что Валентин Сергеевич вхож в атмосферу. «Ну и пусть! — подумал Данилов. Однако он почувствовал, что ему было бы неприятно, если это так. — Неужели и такие теперь вхожи?.. Кто же он есть-то?..» И он полетел дальше.

Лететь он имел право со скоростью мысли. Вот он в Москве, вот он подумал, что ему надо в Верхний Уфалей, и вот сейчас же он в Верхнем Уфалее на базаре. Но так летать Данилову было скучно, и со скоростью мысли он передвигался только по рассеянности и выпивши. Обычно же он позволял себе от мыслей отставать. Вернее, перебивать мысль главную мыслями и интересами случайными, а порой и бестолковыми, которые, однако, доставляли Данилову удовольствие. Мог он и в единое мгновение увидеть и понять все, что лежало на его дороге, любую людскую судьбу, любое происшествие, любую букашку и любую пылинку, и это, по мнению Данилова, было бы все равно что пробежать эрмитажные залы за полчаса и смешать в себе все краски и лица. Ничто бы он тогда не принял близко к сердцу. Ни один бы нерв в нем не зазвенел. А только бы голова разболелась. Оттого он по дороге все и не рассматривал, а о чем хотел, о том и узнавал. Вот отправится, бывало, в Японию к своей знакомой Химеко на остров Хонсю, а сам вдруг услышит звон каких-то особенных колокольцев, обернется поневоле на звон и сейчас же пронесется в Тирольских горах над овечьим стадом, дотрагиваясь на лету пальцами до колокольцев. И тут же вспомнит, что хотел узнать, бросил ли писать Сименон, как о том

сообщили по радио, или не бросил, и вот, не упуская из виду желанную Химеко, он заглянет в лозаннский дом Сименона, благо тот рядом. Потом его привлекут запахи жареной баранины в Равальпинди, стычки демонстрантов на Соборной площади в Сан-Доминго и под ребенка в пригороде Манилы, ребенку этому Данилов тихонечко предложит конфету и слезу утрет и полетит к Химеко, но и теперь он не сразу окажется возле нее, а приключений через пять.

Сегодня Данилов летел строго по курсу, не спешил, но и не снижался. Все системы работали в нем нормально, ничто не барахлило. Под ним была Европа. Справа впереди мерцал Париж, и окна светились в известных Данилову квартирах, в самом Париже и в пятидесятилье от него в галантном городе Со. А чуть дальше и слева Данилов разглядел мрачный ларец Эскориала, сколько раз он собирался заглянуть в его залы и подземелья и самшитовым венником вымести наконец оттуда черные мысли Филиппа Второго. Да все никак не выходило. И сегодня он сказал себе: «Непременно в следующий раз», однако тут же вспомнил, что следующего раза может и не быть. А под ним уже плескалась атлантическая вода.

Летел он, прижав руки к туловищу, вытянув ноги, но и без особых напряжений мышц. Никаких крыльев у него, естественно, не было. Да и кто нынче осмелился бы их надеть! Мода на них давно прошла, даже тяжелые алюминиевые крылья от реактивных самолетов, из-за которых страдали и плели интриги всего лишь пятнадцать лет назад, никто в эфире уже не носил. А Данилов был не из тех, кто в обществе, хоть и в мороз, мог появиться в валенках. Он был щеголем.

Когда принято было летать с рулем и ветрилами, он летал с рулем и ветрилами, но уж какие это были ветрила! Потом увлеклись крыльями, и Данилов одним из первых пошил себе крылья, глазеть на них являлись многие. Каркасы из дамасской стали Данилов обтянул прорезиненной материей, материю же эту он обложил сверху павлиньими перьями, а снизу обшил черным бархатом и по бархату пустил дорожки из мезенских жемчугов. Крыльев он пошил восемь, два запасных и шесть для полетов, чтобы было как у серафимов. Крылья были замечательные, теперь они валяются где-то в кладовке. Данилов не выбросил их совсем, старые вещи трогают иногда до слез его чувствительную душу. Потом были в моде дизельные двигатели, резиновые груши-клаксоны со скандальными звуками, мотоциклетные очки, ветровые гнутые стекла, выхлопные трубы с анодированными русалками и еще что-то, все не упомнишь. Потом кто-то нацепил на себя алюминиевые плоскости — и начался бум. Что тут творилось! Многие знакомцы Данилова доставали себе удивительные крылья — и от «боингов», и от допотопных «фарманов», по четыре каждый, и даже от не существовавших тогда «конкордов». «Тьфу!» — сказал себе Данилов. Он был щеголем, порой и рискованным, но маклаковскую моду принять не желал. Мода ведь только создается в Париже или там в Москве, а живет-то она в Фатеже и Маклакове. А пока дойдет она до Мак-

лакова, через голову десять раз перевернется и сама себя узнавать перестанет, вот с приходом ее и начинают юноши в Маклакове носить расклеванные на метр штаны с бубенцами и лампочками на батарейках возле туфель. Нет, Данилов тогда не суетился, он скромно достал крылья от «Ил-18», ими и был доволен. И теперь, когда знакомые его увлеклись космическим снаряжением, Данилов не стал добывать ни скафандров, ни капсул. То ли постарел, то ли надоели ему обновки. И не нужны были ни ему, ни его знакомым ни крылья, ни двигатели, ни скафандры, все ведь это было так, побрякушки! Цветные стеклышки для папуасов! Однако и теперь, может, по старой привычке, а может, ради баловства, Данилов приобрел для полетов кое-какие приборы и технические приспособления. Не захотел отставать от других...

Но давно уж пора было появиться Андам. Они и появились. Данилов увидел свое заветное место и стал снижаться. Место было тихое, в горах, у моря, а здешние жители его отчего-то не любили. Прямо под Даниловым тянулась теперь посадочная полоса километров в пять длиной, а вокруг нее там и тут на пустынном каменистом плато в зеленом мху кустарников виднелись изображения странных животных и птиц. Данилов произвел посадку и пошел к своей пещере. Посадочная полоса была его хороша, не хуже иных бетонированных, камень пока не искрошился. Полосу эту Данилов устроил в пору ложного увлечения алюминиевыми крыльями. И с крыльями-то этими совсем она была не нужна ему для посадки, а вот спижонил, наволок камней, уложил их да сверху еще их и вылизал, и раза три, теперь-то об этом стыдно вспоминать, садился на полосу как самолет, с ревом, с ветром, выпуская из-под мышек шасси. А потом он и плато вокруг изрисовал всякими диковинными фигурами и мордами да еще и оплел их орнаментом дорожек, нравились тогда Данилову индейские примитивы. Вскоре явились на плато ученые и с шумом открыли работы инков. Другие же ученые с ними не согласились и доказали, что полосу с рисунками создали пришельцы. Данилов с увлечением читал их исследования, страницы с жадностью перелистывал, до того было интересно. Однако охотников за пришельцами в пух и прах разнес проницательный профессор Деревенькин, за что был проклят детьми, в числе их и Мишей Муравлевым. Миша вместе с другими юными умами устно объявил этому профессору кислых щей кровную месть, уроки уже не делал, а точил нож. Профессор теперь нервно вздрагивал, на работу ходил в черной маске, но Данилов считал, что дети правы.

Данилов подошел к пещере. Вход в нее был прикрыт, гранитный тесаный камень в сорок тонн весом Данилов сдвинул плечом. В пещере было темно, сыро, пахло пометом летучих мышей. Данилов погнал летучих мышей палкой, смахнул с каменной лежанки пыль и всякую дрянь, застелил лежанку шкурой древесного ягуара, на шкуре и разлегся.

Надо было что-то решать. Необходимость этого решения мучила Данилова. Эх, отложить бы сейчас, думал Данилов, все это на когда-

нибудь потом да и забыть обо всем... Но нельзя. Данилов достал лаковый прямоугольник повестки, и багровые знаки тут же проявились на ней, мрачно осветили пещеру, напоминая Данилову о времени «Ч». Данилов убрал повестку в карман жилета, вздохнул и закрыл глаза.

Ему стало жалко себя. И чего они к нему пристали?

Ведь хуже его есть личности — и живут себе, и никто их не трогает...

Понять бы, чем он вызвал назначение времени «Ч»? И кто ему это время назначил?

«А-а-а-а! Что гадать-то! — подумал Данилов с чувством обреченности. — Гадай не гадай, а исход один...»

Он был нервен, печален, купание в молнии и полет, успокоившие немного его, были теперь в далеком далеке. Жалел он свою молодую неисчерпанную жизнь. Но, оплакивая себя, Данилов все же краешком мыслей старался предположить, какой ему припишут состав преступления. Это и само по себе было интересно. Но, главное, зная про этот самый состав, можно было бы предпринять что-нибудь, что-нибудь придумать да как-нибудь и судей и исполнителей, пусть и всесильных, а обвести вокруг пальца...

«Какие же статьи договора они мне припомнят?» — думал Данилов. Между ним и Канцелярией от Порядка был заключен договор. Начальник канцелярии поставил свою подпись желтыми несгораемыми чернилами, Данилов по закону расписался кровью из вертикальной голубой вены. В договоре было сто три статьи, и все без шарниров. Туда-сюда их повернуть считалось невозможным. Главным образом там перечислялись обязанности Данилова, признанного отныне демоном на договоре, но гарантировались и кое-какие его права. Когда вышло решение подписать договор, Данилов, да и многие его знакомые, посчитали это решение либеральным и великодушным, Данилов кувыркался от радости в воздушном океане. Да что там говорить! За своеволия Данилова и шалости его и тогда уже могли покарать крепче, а вот все обошлось договором.

Тут следует сказать, что Данилов был демоном лишь по отцовской линии. По материнской же он происходил из людей. А именно — из окающих людей верхневолжского города Данилова. Отца Данилов не знал. Данилов был грудным ребенком, когда отца его за греховную земную любовь и за определенное своеобразие личных свойств навечно отослали на Юпитер. Там ему положили раздувать газовые бури. Да и мать Данилова тогда же и сгинула. С отцом Данилов в переписке не состоял и никогда не встречался. Они и узнавать друг о друге ни словечка не имели права. Пунктом «б» семнадцатой статьи договора Данилову было установлено пролетать мимо Юпитера, лишь закрыв глаза и заткнув уши ватой. Сам же Данилов мог всю жизнь провести в своем городке, разводить в огороде ярославский репчатый лук, а теперь уж и покоиться смиренным мещанином под тополями и березами на даниловском кладбище — ведь по людским понятиям он родил-

ся в конце восемнадцатого столетия. Однако влиятельные приятели его отца из жалости к невинному младенцу выхлопотали ему иную судьбу и перенесли Данилова прямо в мокрых пеленках из Ярославской земли в небесные ясли. А потом пристроили его в лицей Канцелярии от Познаний. Лицей был с техническим уклоном. И дальше Данилов двигался укатанной дорогой молодого демона, срывая на ходу цветы удовольствий.

Жизнь он вел рассеянную и блестящую. Но между тем положение его было сомнительным, во всех документах он числился незаконно-рожденным. Иные ретрограды, не имеющие и понятия о правилах приличия, принимались иногда в присутствии Данилова к атмосфере и шептали раздраженно: «Фу-ты! Человеком пахнет!» Одна беззубая старушка с клюкой, нечесаная и немытая, заявила об этом громко. Потом, в Седьмом Слое Удовольствий, прикинувшись юной красавицей, она, заискивая перед Даниловым, крутилась возле него, надеясь обольстить, но Данилов нарочно поел лука и луком дышал юной старушке в лицо. А один гусь из мелких духов долго шантажировал Данилова, но потом этот гусь был разоблачен как буддийский разведчик и со строгим конвоем отправлен в Обменный Фонд. Ну, ладно, гусь и старушка! Дело в том, что и серьезные личности подозревали в Данилове человека. Доверия к нему у них не было, а значит, не могло быть у Данилова и особого продвижения.

Впрочем, и сам Данилов давал поводы для подозрений. По окончании лицея Канцелярии от Познаний он должен был бы все знать, все чувствовать, все видеть и все людское в этой связи презирать и ненавидеть. Но это были идеальные требования. А далеко не все лицеисты получали дипломы с отличием. Иным лодырям и тупицам дипломы выдавали махнув рукой, жалко было затрат на их воспитание, да и не хватало кадров. Вот и Данилов считался нелишним, но легкомысленным и бестолковым учеником, какому вершины демонических наук были недоступны.

На самом же деле Данилов был лицеистом способным и сразу же научился все знать, все чувствовать, все видеть в пространстве, и во времени, и в глубинах душ, все — и прошлое, и настоящее, и вечное, и вдоль и поперек, и все это — в единое мгновение! Но от этой возможности ему стало тоскливо, скучно и начались мигрени. Куда правильнее показалось Данилову возможностью этой не пользоваться, а открывать все заново и самому, как то делали люди. С любопытством, дотошностью и учением удивляться любой мелочи. Да и что за тоска была бы жить, зная наперед все!

Вот Данилов и прикинулся простаком с малым количеством чувствительных линий. Да так ловко, что ни один ум, ни один аппарат его не раскусил. Знания же были у него теперь, какие он сам себе добыл, иные из высших сфер, иные на уровне даниловской средней школы. А чтобы никого не раздражать, Данилов с усердием занялся фигурными полетами и музыкой. Его выделяли от лицея на соревнования и

олимпиады внеземных талантов. Тут он многих превзошел, получал разряды, звания, премии, чуть было не ушел в профессионалы. Еще в лице на него стали указывать со словами: «Наша гордость». Стало быть, об успехах в учебе Данилову нечего было беспокоиться.

Хуже обстояло у Данилова дело с необходимостью все презирать и ненавидеть. В теории-то он жутко стал все презирать. Как он все ненавидел! Но вот на практике, то ли из-за нехватки общих знаний, то ли по какой иной причине, чувство ненависти к человечеству то и дело вызывало у Данилова колики в желудке и возле желчного пузыря. Однако Данилов не требовал у лекарей справок об освобождении, а хотел преодолеть себя и, выполняя курсовые работы, со рвением стажировался в группах, готовивших землетрясения, стихийные бедствия и ограбления банков. Кое-чему научился, но в животе кололо все сильнее и к горлу что-то подступало. Да и руководители стажировок Даниловым оставались недовольны. В ограблениях он был еще хорош, а вот из кратеров в окружающую среду мало выбрасывал пеплу и камней. А преподаватель труда тот даже пригрозил Данилову отправить его на практику в столовые города Саранска вместе с юными тугоухими демонами портить там салаты и вторые блюда.

Это было унижительно! То есть педагог трудовой подготовки хотел указать Данилову на то, что место его и не среди демонов вовсе, а среди бесовского отродья с привинчивающимися к лбу рожками и развитыми мохнатыми копчиками, а то и среди каких-нибудь там леших или водяных. Данилова эти слова взволновали, и он стал стараться. Но лучше не выходило! Да и к людям Данилов все отчетливее относился не с ненавистью, а с жалостью и даже с приятностью. Это было опасно! Эдак его могли дисквалифицировать в херувимы! А что уж хуже и позорнее этого! Да и ходить босым Данилов не любил. И тут Данилову повезло. Его направили в Группу Борьбы за Женские Души.

Данилова и раньше тянуло к красивым женщинам, теперь же, укутывая свои симпатии к ним видимыми глазу наставников презрением и ненавистью, — иначе не иметь стипендии! — Данилов очень быстро приволок на склад учебной базы восемнадцать теплых и страстных женских душ. А ему и еще вослед с мольбой и надеждой протягивали руки десятки земных красавиц! Даже демоны из золотой молодежи, но в учебе прилежные, разве что списывавшие у Данилова гороскопы, ему завидовали. «Как это ты их?» — спрашивали. «Да уж чего проще, — говорил Данилов небрежно, — сны-то им золотые навевать!» — «На шелковые ресницы, что ли?» — «Ну если желаете, то и на шелковые...»

Данилов окончил лицей, и на него пришла заявка из Канцелярии от Улавливания Душ, из Управления Женских Грез. Однако его забрали во внутреннюю Канцелярию от Наслаждений и поручили устраивать фейерверки и аттракционы на ведомственных балах в Седьмом Слое Удовольствий. Должность выпала незначительная, но и она для Данилова была хороша. Он работал, играл на лютне и в ус не дул. Вре-

мени свободного имел много, вел вполне светский образ жизни, влиятельные дамы ласково глядели на Данилова, и были моменты, в какие Данилов считал себя положительно баловнем судьбы. И вдруг — раз! Жизнь его круто изменилась.

И порядок-то остался старый, но из недр его нечто изверглось. И помели новые метлы по всем сусекам, по всем канцеляриям, по всем Девяти Слоям (так Данилов называл теперь тот мир). Пересматривали бумаги и личные дела, наткнулись и на зелененькую папку Данилова. «Ба! Ба! Ба!» — раздалось в комиссии, и давние подозрения всколыхнулись, потекли в атмосферу, уплотнились там, осели на телячью кожу и толстым томом легли на стол комиссии. Делали Данилову и анализы. Вспомнили еще, что отец Данилова был вольтерьянец. И вышло решение, среди многих прочих: Данилова как неполноценного демона отправить на вечное поселение, на Землю, в люди.

Данилову земной возраст определили в семь лет, и по людскому календарю в тысяча девятьсот сорок третьем году он был опущен в Москву в детский дом. Там очень скоро один из воспитателей обнаружил у Данилова недурной слух, и способного мальчика, худенького и робкого, взяли в музыкальную школу-интернат. Потом была консерватория, потом — оркестр на радио, потом — театр. Оттого, что за Даниловым вины никакой не было, а вся вина была на его отце, многие привилегии и возможности демона Данилову сохранили. Вот только летать в Девять Слоев Данилов имел право лишь изредка и ненадолго. Да и то с особого разрешения. Данилова в Девяти Слоях еще узнавали, шепотом просили рассказать земные анекдоты, но для многих он был уже пришельцем из потустороннего мира, демоном с того света. У них во всех бумагах и разговорах Земля так и называлась — Тот Свет, а иногда и — Тот Еще Свет. Данилов теперь и был в ведении Канцелярии от Того Света.

Поначалу от него многого не требовали, но уж когда Данилов был в консерватории и потом на радио, к нему все чаще и чаще стали поступать всякие глупые указания из канцелярии. Сонные чиновники там, наверху, Даниловым были недовольны, ему указывали на то, что он мало приносит пользы, а людям, стало быть, вреда. Данилов скрепя сердце вынужден был взяться за мелкие пакости, вроде радиопомех, разводов и снежных обвалов, при этом он устраивал неприятности лишь дурным, по его понятиям, людям. А ему и за это учиняли разносы. Тогда в годовом отчете Данилов объяснил свои недостатки тем, что он не получает от канцелярии молока за вредность. Из канцелярии поступил запрос, какую вредность он имеет в виду. Свою ли собственную, внутреннюю вредность, или же ощущаемую людьми в его присутствии, или же вредность окружающей среды? Данилов, подумав, сообщил, что он имеет в виду все три степени вредности, и потребовал, чтобы ему присылали тройную порцию молока. Данилову ответили, что он не прав, но что его вопрос будет рассмотрен. Четыре года шла переписка о молоке, и четыре года Данилов ничего не делал. На-

конец в молоке ему было отказано, потому как лабораторным путем ученая комиссия установила в Данилове низкое содержание внутренней вредности. Однако в связи с вредностью окружающей среды Данилову для поддержания сил решили высылать яблочный сок с мякотью. И опять от Данилова ждали действий, и опять на него кричали. Тогда Данилов отправил в канцелярию нервное послание и в нем заявил, что его учили иметь дело с духовными ценностями и истинным знанием, а не устраивать бури и скандалы, они куда лучше могут получаться у мелких духов-недоучек. Начальник канцелярии принял слова Данилова на свой счет, бился в ужасном гневе, громил казенную мебель, грозил упечь Данилова в расплавленные недра Земли.

Тут и Данилов перепугался. Опять ему припомнили все его грехи земных лет, все его шалости и гусарские молодечества. Данилов поначалу храбрился, грудь колесом пытался выставить, но очень скоро стих и стал ждать кары. Ни с помощью приятелей, ни с помощью ласковых светских дам не хотел он облегчать свою судьбу. И тут случилось неожиданное. Ему предложили подписать договор.

Данилов не верил, думал, что над ним издеваются, а его вызвали в Канцелярию от Порядка и прямо в белые руки вложили три экземпляра договора.

Мудрые умы из теоретиков, разбиравшие дело Данилова, пришли к мысли, что все его отклонения от нравственных и трудовых демонических норм вызваны не чем иным, как его неопределенным положением. Демон Данилов в последние годы, посчитали теоретики, жил и трудился как в тумане. То есть Данилов не знал вовсе, кто он. То ли демон, то ли человек, то ли неведома зверушка, то ли вообще черт знает кто. Последнее соображение на бумагу, естественно, не легло. Это люди склонны были приписывать чертям большие знания, демоны же и чертей, и систему их образования, как, впрочем, и все их системы, ставили чрезвычайно низко. Вывод теоретиков был такой: заключить с Даниловым договор, с сохранением Данилову демонического стажа, и считать его отныне демоном на договоре.

Но мало ли что могли предложить теоретики, не всякая их глупость принималась всерьез чинами. Однако Данилову повезло, и, как он выяснил позже, вот почему. Да, он многое нарушал, решили чины. Но в Девяти Слоях о нем сложилось мнение не как о злостном нарушителе, а как о шалопае. А где же обходятся без своих шалопаев? К тому же Данилов был признан шалопаем милым и обаятельным, светскими дамами в особенности. Нарушать-то он нарушал, но никаких публичных заявлений, порочащих Девять Слоев, не делал, критик не наводил, арий не пел, не то что его отец, вольтерьянец. Из шалопаев же, пусть и отчаянных, выходили потом самые примерные демоны.

Но Данилову все это не было сказано. Его бранили и унижали, брали с него клятвенные заверения в том, что он покончит с легкомыслием. Данилов с охотой давал заверения, выглядел благоразумным и понятливым. Договор с ним подписали, оставив в ведении Канцелярии

от Того Света. В третьей статье договора категорически требовалось, чтобы Данилов всегда знал, в каком состоянии он находится — в человеческом или в демоническом. На складе под расписку Данилову выдали серебряный браслет системы «Небо — Земля», часы Данилову были не нужны, вместо часов Данилов и носил теперь браслет, никогда и нигде, даже и в парной в Сандунах, его не снимал, а если бы какой грабитель в темном переулке, хоть и с пистолетом, пожелал получить от Данилова браслет, то вряд ли бы это его желание осуществилось.

На одной из пластинок браслета была художественно выгравирована буква «Н», на соседней — буква «З». Стоило Данилову рукой или волевым усилием сдвинуть пластинку с буквой «Н» чуть вперед, как он сейчас же переходил в демоническое состояние. Движение пластинки с буквой «З» возвращало Данилова в состояние человеческое. Быть демоном и человеком одновременно Данилов не имел права. Много имелось в договоре строгих правил и ограничений, Данилов поначалу делал вид, что не может держать в голове все статьи документа, но ему их напоминали.

Долго гадали, чем теперь занять Данилова. К важным делам он был признан неспособным. Данилов, пока в канцелярии ломали головы, не вытерпел, решил опередить чиновников и сам нашел себе дело, не очень к тому же противное. Он потихоньку стал отсылать в Управление Умственных Развлечений земные шутки, очень ценимые в Девяти Слоях. Шутки передавали в Канцелярию от Наслаждений. Однажды он забыл отправить в управление очередной ящик с шутками и немедленно получил выговор вкрутую. От Данилова потребовали и объяснительную записку. Данилов сообщил, что задержался с отправкой шуток оттого, что земные шутки, оказывается, следует с терпением отмачивать в специальном растворе, тогда они становятся особенно хороши, — это открытие Данилов сделал недавно. Данилов и действительно начал отмачивать шутки с анекдотами в ванне и вскоре получил из управления теплое письмо, в нем Данилова хвалили, сообщали ему, что отмоченные им шутки имеют большой успех, просто шумная мода на них! Тогда Данилов осмелел, написал о жалких условиях, в каких он отмачивает шутки, и попросил изготовить ему специальный аппарат — рисунок его тут же приложил. Попросил Данилов и несколько баночек горчицы — для особой крепости раствора (он ждал Муравлевых на пельмени). Горчицу Данилов шиш получил, у них и у самих ее не было, но Данилову посоветовали купить за наличный расчет горчичников в аптеках, их и пустить в дело. Зато аппарат умельцы изготовили Данилову славный, чудо какое-то явилось ему, сверкающее и прозрачное, с ракушками и камнями, с батарейками для подогрева воды. Данилов налюбоваться не мог аппаратом.

Все шло ничего, вроде бы Данилов был при деле, мог бы жить и играть себе на альте. Но оказалось, что только Канцелярия от Наслаждений довольна им. С точки же зрения его Канцелярии от Того Света, он

бездействовал, слишком много позволял себе и слишком часто нарушал порядки. Что было, то было. Данилова вызывали куда следует, тыкали носом в статьи договора, уговаривали не позорить честь непорочной канцелярии, грозили карами. Данилов глядел на сановников невинными глазами, каялся и обещал исправиться. Однако не менялся.

Данилова, желая проучить его, даже прикрепили к останкинским домовым, по месту жительства. Другой бы демон ночей не спал от бесчестья — это демона-то и к домовым! А Данилов ничего, поначалу, конечно, был расстроен, но потом заглянул как-то ночью в собрание домовых на Аргуновскую улицу, и домовые пришлись ему по душе. Он стал ходить к ним и пальцем о палец не ударил, чтобы изменить унижительное свое положение. (Впрочем, теперь он бывал у домовых редко. Но это — из-за занятости музыкой.)

Суeta человеческой жизни опять захватила его, он махнул рукой на угрозы и предостережения и решил, что пусть все идет как идет. И вот — дождался! Явился порученец Валентин Сергеевич, или кто он там на самом деле, и преподнес лаковую повестку с багровыми знаками времени «Ч».

Данилов лежал теперь в сырой пещере в Андах под шкурой древесного ягуара и никакого выхода из нынешнего своего печального положения отыскать не мог.

«А ведь они мне дают срок что-то предпринять, — думал Данилов. — Последний срок, но дают. Иначе бы они меня немедля вызвали в судилище... Хотят, чтобы я сделал выбор... Это еще не конец... Время есть... Что-нибудь, а придумаю... Правда, не сейчас... а потом... потом...»

Соображения эти немного успокоили Данилова, и он, дав себе решительное обещание в ближайшие же часы продумать план действий, на каменной лежанке и задремал.

Но вскоре его разбудило хриплое знакомое мурлыканье. Данилов открыл глаза и увидел перед собой кота Бастера. Кот был старый, полуслепой и облезший — и хороший скорняк вряд ли бы взялся пошить из него кроличьи шапки. Да что там скорняк! Не всякая живодерня согласилась бы принять такого кота. Впрочем, служащих живодерни Бастер, наверное бы, удивил — он был ростом с теленка. Когда-то Бастера признавали красивым, даже великолепным, но до того он устал жить, что внешность его теперь совершенно не заботила. И то ведь — завелся он в Египте во времена Изиды и Озириса и очень скоро, без всяких рекомендательных писем, а только благодаря своим трудам и талантам, стал священным покровителем Музыки и Танцев. Вокруг стояла тьма египетская, но и в той тьме стараниями Бастера кое-что делалось. Кое-что звучало и подпрыгивало. Сейчас он уже нигде не служил, а находился на заслуженном отдыхе. Он был добр, в нем еще тлел интерес к музыке, потому-то Данилов и любил кота и позволял ему появляться в своей пещере, а в пещеру он допускал немногих.

— Здравствуй, Володя, — сказал Бастер. — Я тебе не помешал?

— Здравствуйте, — кивнул Данилов. — Я рад вас видеть. Я так... вздремнул...

— Хорошо, — сказал Бастер. — Я посижу молча.

Данилов закрыл глаза, говорить ему не хотелось, но он знал, что кот сейчас же начнет расспрашивать его о новостях московской музыкальной жизни — и тут kota можно понять, но вот отвечать ему будет неважно. «А отчего же потом-то искать выход? — подумал Данилов. — Надо решить теперь же, непременно теперь...»

Но тут как бы игрой бликов на перламутре жемчужной раковины, как дуновение Эола, лишь чуть всколыхнув сырой воздух пещеры, с цветами анемонами в руках явилась нежная Химеко, вечная жрица и пророчица, тончайшее создание природы, давняя подруга Данилова. Шелком фишашкового кимоно проведя по шербатым камням пещеры, Химеко поклонилась Данилову и цветы анемоны положила к его изголовью. Данилов привстал в смущении, ноги свесил с лежанки. Кот Бастер поднял хвост трубой и сейчас же деликатным дымком рассеялся в сумраке пещеры. Химеко стояла молча, голову кротко наклонив, а Данилов любовался ею. Однако он тут же осознал, что теперешнее явление Химеко вовсе не кстати. Когда-то между ними была страсть, от страсти той таял лед в Гималаях и вспухали великие реки, острова поднимались в океане, лава клочкотала в безумных кратерах Курил. И теперь Химеко иногда волновала Данилова, но страсти прежней, увы, в нем не было больше. Бывало, Данилов весь дрожал, спеша на свидания с Химеко, теперь он был с ней спокоен. Когда-то он желал навсегда поселиться рядом с Химеко в туманных горах острова Хонсю. Но Химеко прижала тогда палец к губам и покачала головой, и Данилов, смирясь со своим печальным жребием, принял ее обычай, называемый цумадои, а значит, и стал приходящим другом Химеко. Прилетать к ней на крыльях любви он имел право лишь по ее вызову. А каково было мечтательному в ту пору Данилову с его нетерпеливой натурой видеть в мыслях мягкие округлые плечи Химеко, ее безукоризненно верную грудь, томительный танец ее тонких, гибких рук, думать о Химеко и сидеть дурак дураком, ожидая ее вызова. Как давно это было! Кабы вернуть те хмельные полеты юных лет!

Химеко все стояла молча и глядела на Данилова, была покорна, словно его раба, чувство жалости шевельнулось в Данилове, и правая нога его сама собой стала нащупывать камень пола. Но тут же Данилов сказал себе: «Нет! Ни в коем случае! Нынче не до баб!.. Разве прирешешь с ними важное решение!» Данилов так и застыл в глупейшей позе, правой ногой касаясь пола.

А во взгляде Химеко появилось нечто новое, тревога какая-то или даже испуг. Что-то угадала она в судьбе Данилова, всплеснула птичьими руками кимоно и вскрикнула.

Сразу же, руки вытянув прямо перед собой, она отступила на несколько шагов в глубь пещеры, там и замерла в забытии. Потом, вернувшись из ниоткуда, она тихонько ударила ладошкой о ладошку — и

в руках ее оказалась лопатка оленя. У ног Химеко вспыхнул ровный синий огонь, а чуть поодаль возникла большая каменная чаша с ледяной водой. Химеко осторожно опустила лопатку оленя в синий огонь, а сама встала перед костром на колени. Некий таинственный, но мелодичный звук возник в пещере. Данилов так и застыл, свесив ноги с лежанки, придерживал дыхание, не шевелился, боясь помешать гада-нию Химеко. Но вот лопатка оленя раскалилась, нежными своими пальцами Химеко подняла ее, задержала на мгновение в воздухе и тут же бросила кость в чашу с ледяной водой. При страшном шипении и новых таинственных звуках, теперь уже не мелодичных, а нервных, пещеру заволочло паром, у Данилова потекли слезы и уши защипало, но Химеко бросила в чашу лепешку кагамимоти вместе со змеей, менявшей кожу. Шипение стихло, пар исчез, оставив камни пещеры влажными. Молча смотрела теперь Химеко на лопатку оленя, в извилинах возникших на ней трещин читала судьбу Данилова — и вдруг пошатнулась, швырнула кость на камни, в ужас взглянула на Данилова, вскричала «Дзисай!» — и исчезла.

— Постой! Не надо! Не делай этого! — Данилов, вскочив с лежанки, крикнул вослед Химеко.

Данилов и прежде с иронией относился ко многим предрассудкам Химеко, к ее наивным приемам, уж больно не вязались они с нынешним веком, но вслух ей ничего не говорил — и нежная Химеко была упряма, и сам он уважал чужие заблуждения. Но сейчас-то из-за него, Данилова, мог погибнуть его Дзисай, или несущий печаль! По древнему обычаю, Химеко одного из своих родственников, находившихся у нее в услужении, чтобы оградить любезного ей Данилова от бед и напастей, сделала Дзисаем Данилова. Все печали Данилова, по мысли Химеко, обязаны были теперь стекать в него. Этот бедный Дзисай, как, впрочем, и Дзисаи по иным поводам, не должен был уже ходить в баню и парикмахерскую, отобрали у него и электрическую бритву «Филлипс», было ему категорически запрещено ловить на себе насекомых, не ел ничего он мясного, даже и из консервных банок, а на женщин глядеть он и вовсе не имел права. Но худшее его ждало впереди. Если какая беда свалилась бы на Данилова или бы он опасно занемог, сейчас же Химеко должна была бы объявить Дзисая виноватым и убить его, полагая, что тем самым она облегчит участь Данилова. Значит, теперь Химеко унеслась убивать кривым самурайским мечом его Дзисая, а он, Данилов, как бы ни желал воспрепятствовать этому варварскому обычаю, ничего изменить не мог. Он слишком ясно знал это и сидел в пещере печальный.

«Дела мои, стало быть, плохи, — пришло ему на ум, — может, и выхода нет...»

Но снова послышалось хриплое мурлыканье — и возник кот Бастер, покровитель Музыка и Танцев.

— Я потихоньку посижу, — сказал Бастер.

— Сидите, — кивнул Данилов.

Но тут произошло сотрясение воздуха, все в пещере осветилось, запрыгало, заходило ходуном, вежливый кот Бастер, не дожидаясь, когда бурное движение воздуха обернется видимой и плотной материей, истек тихим фиолетовым дымом, а перед очами Данилова предстала и сама по себе сверкающая, но и вся в дорогих камнях демоническая женщина Анастасия, смоленских кровей, роскошная и отважная, прямо кавалерист-девица, схожая с Даниловым судьбой, однако удачливее его, предстала, засмеялась от удовольствия, теперешнего или будущего, сказала красивым низким своим сопрано: «Вот ты где, ненаглядный мой Данилов! Что же ты теперь со своим браслетом прячешься-то от меня?» И, не дожидаясь ответных слов Данилова, крепкими полными руками обняла его и прижалась к нему, робея. Данилов хотел было отстранить от себя Анастасию, но, взглянув в ее счастливые и верные оранжевые глаза, ощутив ее сладкое, жаркое тело, понял, что не прогонит Анастасию, да и глупо было бы делать это, пошло бы все прахом, рассудил он, и в тот же миг забыл обо всем на свете. А вскоре в районе Карибского моря, несмотря на все предосторожности Данилова, возник не предсказанный учеными ураган, он стремительно пронесся над Флоридой и двинулся на запад, срывая на ходу железные крыши, катя изящных форм автофургоны по хлопковым полям Луизианы. От службы погоды он тут же получил акварельное имя «Памела». Среди знакомых Данилова, случайных и далеких, действительно была Памела, но к нынешнему урагану она не имела никакого отношения.

5

В дверь позвонили. То есть звонок у Муравлевых был музыкальный, за семь рублей, и он закурлыкал по-журавлиному.

Муравлев, ворча и подтягивая мятые польские джинсы, пошел открывать.

На пороге стояла жена его Тамара, держала в руках авоськи, тяжелые, как блины от штанги Алексева.

— Ну проходи, — сердито буркнул Муравлев. — Любишь ты эти магазины. Часами готова в них бродить.

— Что же делать? — вздохнула Тамара.

Муравлев рассмотрел покупки, пиво было «Жигулевское» и с сегодняшней пробкой, и был кефир, жена ни о чем не забыла, но Муравлев сказал на всякий случай:

— Пива могла бы взять и больше.

Он проследовал за женой, тащившей сумки на кухню, на ходу извлек из авоськи круглую булочку за три копейки и, откусив от булочки половину, сказал:

— Данилов звонил.

— Он каждый день звонит, — сказала Тамара, — да все заехать нет времени.

— Сегодня заедет.

— Надо же! — обрадовалась Тамара. — Я точно предчувствовала, фасоли зеленой давно не было, а сегодня захожу в кулинарию, смотрю: стоит. И я подумала: вот бы Данилов пришел к нам на лобно.

— Придет, придет, — дожевывая булочку, сказал Муравлев. — Ты хозяйничай, а у меня работы много.

Отдышавшись, Тамара заглянула в комнату своего сына Миши, склонного к глубоким раздумьям, с намерением увидеть страдания пятиклассника над домашними заданиями. Но Миша спал, прямо за столом, положив голову и руки на лист ватманской бумаги. Вскоре Миша был разбужен, и, пока он тер глаза, Тамара разглядела, что на ватман наклеена вырезка со статьей пронизательного профессора Деревенькина, громившего легенды о пришельцах, а вокруг статьи были нарисованы ножи, пушки и кулаки, грозившие и профессору и статье.

— Да, Витя, а как у Данилова с деньгами? — вспомнила Тамара.

Муравлев, лежавший с журналом «Спортивные игры» на диване, отозвался не сразу:

— С деньгами? Да все так же... Даже хуже, по-моему.

— Он сказал?

— Ничего он не скажет, ты же знаешь Данилова...

— Что же нам делать?

— Я не знаю, — сказал Муравлев. — У меня будет приработок... И ты хотела решать с шубой...

— Да, — вздохнула Тамара, — с шубой надо решать.

Шуба у Муравлевых была роскошная, колонковая, с черными полосками судьбы на коричневой глади, купленная за шестьсот трудовых рублей у Тамариной сослуживицы Инны Яковлевны Ольгиной. Деятельность семьи Муравлевых в последние полгода оправдала покупку шубы, Муравлевы гордились ею, сам Виктор Михайлович Муравлев даже и в жаркие дни с охотой выгуливал шубу на балконе, проветривая и ее и себя. Однако скоро шуба стала трещать, греметь, словно жестяная, и как бы взрываться мездрой. Скорняки сказали, что дело гиблое и надо было глядеть раньше, — шуба досталась Муравлевым гнилая. Выслушали Муравлевы и совет — теперь же и нести шубу в комиссионный магазин, чтобы вернуть хоть кое-какие деньги. Знакомый художник Н. Д. Еремченко предложил поделаться из шубы колонковые кисточки и торговать ими за рубль штуку, охотников на них нашлось бы много, в художественных салонах нынче предлагалась одна щетина. Вот Муравлевы на поприще искусства и вернули бы за шубу не то чтобы шестьсот рублей, а и всю тысячу. Но жалко было Муравлевым шубу. Чуть ли не со слезами смотрели они на нее, понимали, что, может быть, такой шубы у них и не будет больше никогда. Однако теперь денежное положение Данилова стало острее — и надо было действительно с шубой что-то решать.

Данилов платил за два кооператива и за инструмент. Инструмент обошелся ему в три тысячи, собранные у приятелей и у знакомых приятелей. Купил он его четыре года назад. Но это был истинный альт, возрастом в двести с лишним лет, сотворенный певучими руками самого Альбани. Себе Данилов построил однокомнатную квартиру, а бывшей своей жене Клавдии Петровне отдал кооперативную двухкомнатную квартиру с хорошей кухней и черной ванной. И за то и за другое жилье он посчитал нужным платить. Да и как же не платить-то! Женщина, что ли, слабое существо, обязана была тратиться на условия существования? Данилов был музыкант, а музыка и есть сама душевность. Когда жена Клавдия Петровна ушла от Данилова, он догнал ее, взял под руку, вернул в квартиру и ушел сам. С женой ему было тошно, он чувствовал, что ошибся, что не любит ее, как, впрочем, и она его, и обоим им стало легче оттого, что они разошлись. Клавдия Петровна накануне развода вела с Даниловым гремучую войну, но, когда она узнала, что Данилов уступил ей квартиру и вызвался платить за нее, она сейчас же пообещала навсегда быть ему настоящим другом. Она и до сих пор считала себя до того другом Данилова, что после каждого возвращения его с заграничных гастролей обязательно являлась к Данилову домой и принималась разбирать чемоданы с желанием помочь уставшему с дороги. «Ах, какая вещь, какая вещь! — радовалась она и добавляла: — Но зачем она тебе, скажи мне, Данилов?» Данилов сто раз собирался гнать в шею эту совершенно чужую ему женщину, но по причине застенчивости не гнал, а ограничивался тем, что дарил понравившиеся ей вещи.

Новая его квартира в Останкине походила на шкатулку, но в ней вполне было место, где Данилов мог держать свой инструмент. Он оставил себе и прежний инструмент, ценой в триста рублей, таких и сейчас лежало в магазинах сотни, Данилов хотел было продать его, но потом посчитал: а вдруг пригодится? Звук у альты Альбани был волшебный. Полный, мягкий, грустный, добрый, как голос близкого Данилову человека. Шесть лет Данилов охотился за этим инструментом, вымаливал его у вдовы альтиста Гансовского, вел неистовую, только что не рукопашную, борьбу с соперниками, ночей не спал и вымолил свой чудесный альт за три тысячи. Как он любил его заранее! Как нес он его домой! Будто грудное дитя, появление которого ни один доктор, ни одна ворожея уже и не обещали. А принеся домой и открыв старый футляр, отданный Данилову вдовой Гансовского даром в минуту прощания с великим инструментом, Данилов замер в умилении, готов был опуститься перед ним на колени, но не опустился, а долго и тихо стоял над ним, все глядел на него, как глядел недавно в Париже на Венеру Бурделя. Он и прикоснуться к нему часа два не мог, робел, чуть ли не уверен был в том, что, когда он проведет смычком по струнам, никакого звука не возникнет, а будет тишина — и она убьет его, бывшего музыканта Данилова. И все же он решился, дерзнул, нервно и как бы судорожно прикоснулся смычком к струнам, чуть ли не дер-

нул их, но звук возник, и тогда Данилов, усмиряя в себе и страх и любовь, стал спокойнее и умелее управлять смычком, и возникли уже не просто звуки, а возникла мелодия. Данилов сыграл и небольшую пьесу Дариуса Мийо, и она вышла, тогда Данилов положил смычок. Больше он в тот вечер не хотел играть. Он боялся спугнуть и первую музыку инструмента. Он и так был счастлив. «Все, — говорил он себе, — все!» Теперь он уже ощущал себя истинным хозяином альта Альбани. Да что там хозяином! Он ощущал себя его повелителем! Это были великие мгновения. Он плясать был готов от радости.

Потом, будучи повелителем инструмента, он уже без прежней робости, хотя и с волнением, рассмотрел все пленительные мелочи чудесного альта, ощупал его черные колки, нежно, словно лаская их, провел пальцами по всем четырем струнам, тайные пылинки пытался выискать в морщинах завитка, убедился в том, что и верхний и нижний порожек, и гриф, и подставка из клена крепятся ладно, а после — сухой ладонью прикоснулся к декам из горной ели, покрытым в Больцано нежно-коричневым лаком, ощутил безукоризненную ровность обтекающего верхнюю деку уса, сладкие выпуклости обечайки и крепкие изгибы боковых вырезов. Все было прекрасно! Во всем была гармония, как в музыке! Данилов закрыл глаза и теперь прикасался пальцами к инструменту, как слепой к лицу любимого человека. Все он унавал, все он помнил! Данилов опять сыграл пьесу Мийо, а потом достал из шкафа большой кашмирский платок. Платок этот был куплен в Токио на всякий случай, чтобы ублажить им бывшую жену, однако она, разбирая чемоданы Данилова, отчего-то проглядела его. Данилов завернул инструмент в платок, уложил его в футляр. Позже именно в кашмирском платке он и держал инструмент.

Но радость радостью, искусство искусством, а инструмент был еще и материальной ценностью. Данилов сразу же застраховал его. Он и представить себе не мог, что когда-либо расстанется с инструментом, но надо было иметь и какие-то гарантии. К бумажке страхового полиса он относился с презрением, чуть ли не с брезгливостью, однако взносы платил исправно. А ведь весь был в долгах. Велика ли зарплата оркестранта, хоть и из хорошего театра! Причем деньги Данилову приходилось отдавать приятелям по эстафетной системе — у одних он брал и тут же нес казначейские знаки поджидавшим их кредиторам. Иногда в движении долга случались заминки, с трудом Данилов добивался у знакомых пролонгации ссуд. Теперь же он срочно должен был вернуть Добкиным семьсот рублей, а раздобыть их нигде не мог. Как ни мучил его стыд за пожар в Планерской, а сегодня он уж точно собирался зайти к Муравлевым — и чтобы просто отдохнуть у них в доме, и чтобы обсудить с ними, как быть дальше. Благо, что вечернего спектакля у него не было.

Однако Муравлевы ждали его в тот день напрасно. И лобно напрасно жарилось на газовой плите.

С утра Данилов заскочил в сберегательную кассу и, выстояв очередь, произвел коммунальные платежи. В кассе было душно, неграмотные старушки именно Данилова просили заполнить вместо них бланки и квитанции — такое доверие он рождает в их душах. Данилов выпачкал пальцы чернилами, а подымая от бланков глаза, упирался взглядом в грудастую даму на плакате с жэковскими книжками в руках — над дамой медными тарелками били слова: «Красна изба не кутежами, а коммунальными платежами!» Данилов сам платил, укоряя себя: уж больно много он нажег за месяц электричества. Потом Данилов пошел сдавать стеклянную посуду, а возле пункта приема стояла очередь с колясками и мешками. Однако тут Данилову повезло, приемщица, важная, как императрица на Марсовом поле, ткнула в него пальцем и сказала: «Парень, ну-ка иди нагрузи машину ящиками, а то мы закроем точку. Пальтишко-тоними, не порть!» Данилов исполнил справедливое распоряжение приемщицы и меньше чем через сорок минут заслуженно сдал свои бутылки с черного хода. В химчистку за брюками он не успел забежать, решив, что уж ладно с ней, с химчисткой. Да и с брюками тоже, к ним ведь еще и пуговицы следовало пришивать.

В одиннадцать Данилов появился на улице Качалова в студии звукозаписи, там он с чужим оркестром исполнил для третьей программы радио симфонию Хиндемита. И музыка была интересная, и платили на радио сносно. Когда Данилов уже укутывал инструмент в кашмирский платок, к нему подошел гобоист Стрекалов и что-то начал рассказывать про хоккеиста Мальцева. Данилов болел за «Динамо», слушать про Мальцева ему было интересно, однако он нашел в себе силы произнести: «Извини, Костя, опаздываю в театр!» На ходу он успел перекусить лишь фруктовым мороженым, но в театр не опоздал. Репетировали балет Словенского «Хроника пикирующего бомбардировщика», дважды Данилову приходилось играть поперек мелодии, а то и прямо против нее, но и сам он собой, и дирижер им остались довольны. В перерыве Данилов стал отыскивать гобоиста Стрекалова, однако тут же вспомнил, что играл со Стрекаловым в другом оркестре. «Фу-ты! — расстроился Данилов. — Ведь мог же дослушать про Мальцева и успел бы!..» Он побежал в буфет, но по дороге встретил Марию Алексеевну из книжного киоска, он был ее любимец, она шепнула Данилову, что достала ему монографию Седовой о Гойе и пропущенную Даниловым Лондонскую галерею. «Мария Алексеевна! Волшебница вы наша!» — шумно обрадовался Данилов. Сейчас же к нему подошла в костюме Зибеля женщина-боец Галина Петровна Николева, отвечавшая за вечернюю сеть. «А вот, Володя, — сказала Николева, — план шефских концертов. Это не наш сектор, но и для тебя, сочли, тут есть работа». — «Хорошо, — сказал Данилов, взяв бумагу, — я с охотой». Он совсем уж было приблизился к буфету, но тут его подхватил под руку Санин, один из летучих администраторов. «Пойдем,

пойдем, — сказал Санин. — Тебе звонят, звонят, а я должен бегать за тобой по всему театру».

Звонил Сергей Михайлович Мелехин, старый знакомый Данилова.

— Володенька, — нервно заговорил Мелехин, — я тебя редко о чем-то прошу, но сегодня не прошу, а умоляю...

Мелехин заведовал клубной работой в богатом НИИ и умолял Данилова часто.

— Что надо-то? — спросил Данилов.

— Устный журнал, сыграть-то всего несколько опусов, у нас платят, ты знаешь, хорошо, нынче вечером...

— Сегодня вечером не могу... Меня люди ждут...

— У тебя нет спектакля! А тут всего-то сыграть, ты к людям успеешь... У нас платят хорошо, у нас же наука, не то что у вас, искусство... Выступающие без тебя зазря приедут... Профессора, искусствоведы... Десять персон... А ты пьесы сыграешь и человеческие, и какие машина написала... Для сравнения... Тебе же самому интересно сыграть будет... Опусы-то написаны специально для альта...

— Для альта? — удивился Данилов.

— Для альта! — почуввав, что клюет, воодушевился Мелехин. — Машина для альта писала, ты представь себе! Десять персон профессоров явятся из-за одного альта. А не будет музыканта, выйдет скандал, меня выгонят! И будешь ты жить с мыслью, что из-за тебя человеку судьбу порушили! А каково это тебе, с твоей-то совестливостью? Выручай, милый, а деньги я тебе прямо в белом конверте вручу...

— Я подумаю... — сказал Данилов неуверенно.

— Что думать-то! Ровно в семь будь у меня, ноты посмотришь, сыграешь и успеешь к своим людям.

— Ну ладно...

— Вот и хорошо! Ты меня спас! А то уж я хотел было голову на трамвайные рельсы класть. Этот негодяй, кстати твой знакомый, Мишка Коренев неделю обещал, а в последнюю минуту, мерзавец, отказался... В семь жду!

Мелехин энергично положил трубку, не дав Данилову ни опомниться, ни засомневаться в чем-либо. А Данилов стоял у телефона и думал: «При чем тут Миша-то Коренев? Миша и альта-то в руки не берет, Миша Коренев — скрипач из эстрадного оркестра...» Однако соображения эти были уже лишние.

В семь Данилов, кляня свою слабохарактерность, подъехал к стеклянному с алюминиевой плиссировкой под козырьком крыши клубу НИИ. Народ уже гудел в зале и фойе, в конце устного журнала обещали показать «Серенаду солнечной долины», взятую в фильмофонде. В комнатах за сценой дымили участники журнала, люди все солидные и уверенные в своих мыслях. Один из них был в черной маске, чуть-чуть дрожал, все оглядывался. Среди прочих Данилов увидел и Кудасова. Кудасов насадил на Мелехина, говорил, что опаздывает, и требо-

вал начинать. Однако заметил Данилова и чуть ли не застыл Лотовой женой. Придя в себя, подплыл к Данилову, сказал:

— И вы тут? А у Муравлевых еда стынет! Ну и чудесно, поедем вместе. — И он втянул в ноздри воздух, приманивая запахи далекой волнующей душу кухни.

Мелехин взглянул на Данилова косо, будто не он тремя часами раньше стоял на коленях возле телефона, а Данилов напросился к нему в устный журнал. Мелехин подошел к Данилову, взял его под руку, отвел в пустую комнату, вручил ноты и сказал, глядя сквозь стену куда-то в служебные хлопоты:

— У тебя, Володя, есть часок, тут всего-то шестнадцать пьес, восемь от людей-композиторов, восемь от машины, можешь их посмотреть, а можешь и вздремнуть, ты у нас и Стравинского играешь с листа... А Мишка-то Коренев какой стервец!

Тут дверь в комнату открылась, вошли две барышни. И сейчас же хрустальная стрела судьбы тихо и сладостно вонзилась Данилову под левую лопатку.

— Вот, Володя, знакомься! — обрадованно сказал Мелехин. — Знакомься, Екатерина Ивановна Ковалевская, активистка нашего журнала, а я побегу...

Екатерину Ивановну Данилов знал хорошо, она была приятельницей Муравлевых и к тому же, сама того не ведая, огненным столбом ворвалась в жизнь домового Ивана Афанасьевича. Екатерина Ивановна обрадовалась Данилову, но в глазах ее Данилов уловил непривычную для Екатерины Ивановны печаль.

— А это, Володя, моя подруга по работе, — сказала Екатерина Ивановна, — Наташей ее зовут.

— Володя, — протянул Данилов руку, и прикосновение Наташиной руки обожгло его, будто восьмиклассника, явившегося на первое свидание под часы.

Глаза у Наташи были серые и глубокие, а смотрела она на Данилова удивленно, с трепетом, как Садко на рыбу Золотое перо. Данилов хотел было сказать легкие, лукавые слова, какие он обычно говорил женщинам, но он произнес смущенно и даже резко:

— Вы извините меня, я ноты вижу в первый раз, и надо бы их прочитать...

— Хорошо, хорошо, — сказала Екатерина Ивановна, — мы не будем тебе мешать.

А Наташа ничего не сказала, а только поглядела на Данилова, и у Данилова вновь забилося ретивое.

«Что это со мной? — думал Данилов. — Отчего я так смущен и взволнован? Неужели явилась эта тонкая женщина с прекрасными серыми глазами — и все в моей жизни изменилось?.. Ведь выпадают же иным людям чудные мгновенья, отчего же и мне чудное мгновенье не испытать... Она и не сказала ни слова, и я ничего не знаю о ней, а вот вошла она — и стало легко, и торжественно, и грустно, будто я уже

где-то высоко-о-о... Нет, нет, хватит, и нечего думать о ней...» Данилов запретил себе думать о Наташе, однако все вспоминал ее глаза и то, как она смотрела на него, вспоминал и еще нечто неуловленное им сразу в ее облике... Однако ноты не ждали. Данилов с усилием воли развернул поданные Мелехиным бумаги и обомлел. Схватил инструмент и выбежал в большую артистическую. Мелехин был тут и исчезнуть не имел возможности.

— Сергей Михайлович, что это? — воскликнул Данилов.

— Что? Где? — искренне удивился Мелехин.

— Вот это! Ноты!

— Это ноты, Володенька!

— Я и сам вижу, что ноты! — вскричал Данилов. — Но написаны-то эти пьесы не для альты, а для скрипки! Что же вы меня дурачили-то!

— Тише, тише, Володенька, — взмолился шепотом Мелехин. — Ну виноват. А еще больше виноват стервец Мишка Корнев. Неделю обещал, а сегодня утром прислал какое-то нервное письмо: мол, не может и еще черт знает что!..

— Ну и я не могу, — сказал Данилов, — у меня альт, а не скрипка.

— Сможешь, Володенька, ты все сможешь, ты же у меня единственный знакомый музыкант высокого класса, я тебе двадцать рублей лишних дам, ты возьми квинтой выше, а тем-то, которые в зале сидят, им-то ведь все равно, на чем ты станешь играть, на альте, на скрипке или на пожарном брандспойте...

— Все это мне, как музыканту, — сказал Данилов, — слушать оскорбительно и противно. Я ухожу сейчас же.

— Нет, нет, я, может, не так что сказал, я — открытая душа, прости, но ты не уйдешь, неужели тебе, альтисту, слабо сыграть то, что написано для какой-то скрипки!

И тут Данилов опять увидел Наташу. Наташа вместе с Екатериной Ивановной заглянула в артистическую, наткнулась взглядом на Данилова, смутилась и улыбнулась ему. И Данилов понял, что он выскочил во гневе с альтом в руках не только для того, чтобы разнести в пух и прах Мелехина да и во всем клубе произвести шум, но и для того, чтобы еще раз увидеть Наташу или хотя бы почувствовать, что она рядом. И еще он понял, что сейчас сыграет на своем альте любую музыку, написанную хоть бы и для скрипки, хоть бы и для тромбона или даже для ударных.

— Ну хорошо, — сказал Данилов. — Но я в последний раз терплю ваши обманы.

— Ты же интеллигентный человек, Володенька! — умилился Сергей Михайлович.

Данилов вернулся в комнату, ему отведенную, развернул ноты и подумал: «А что, неужели мне действительно слабо сыграть за скрипку?» Тут же он упрекнул себя в малодушии, нечего и вообще было подымать шум — и инструмент его хорош, да и собственные его мечты о музыке возносили альт на такую высоту, на какую и скрипка, пусть

даже из Страдивариевых рук, взлететь не могла. Что же теперь робеть! Да и созорничать никогда не лишне! Словом, через сорок минут Данилов вышел из комнаты веселый и даже в некоем азарте. Устный журнал уже начинали.

Важные персоны из ученых и говорунов заняли места за столом на сцене, а Данилов уселся за кулисами на стульчике и стал ждать своей минуты. Рядом тихонько играли в подкидного шестеро электрических гитаристов, блестели перстнями, сметали с клубного реквизита пыль кружевными манжетами. Громкие парни эти поначалу дерзили Данилову, а может, и жалели его, как жалеют водители лимузинов мокрого кучера на облучке посудной телеги. Но потом разглядели инструмент в кашмирском платке, притихли и заскучали.

Первым выступал Кудасов. Стоял он таким образом, чтобы видеть зал и видеть Данилова и в случае нужды не позволить Данилову одному утечь на ужин.

Потом вышли замоскворецкие шоколадницы и со сцены показывали зрителям новые конфеты «Волки и овцы», посвященные юбилею Островского. Конфеты эти были розданы на пробу участникам журнала, сидевшим за столом. При полной тишине зала, лишь в сопровождении барабанной дробы, как в цирке при роковом номере, участники прожевали конфеты, оживились, стали хвалить шоколадниц, а серые с красным обертки конфет пустили в публику для ознакомления. Дожевывая конфету, поднялся из-за стола и подошел к краю сцены с винтовкой в руке мастер спорта международного класса по стендовой стрельбе Борис Чашарин, только что вернувшийся из Уругвая. Он сказал, что говорить ему трудно, что его дело не говорить, а стрелять. Все же он попытался сострить, пожалев, что напрасно зрители не пришли в клуб со своей посудой. А то пришли бы, стали б теперь подкидывать тарелки, и он показал бы класс. И тут над публикой возникла прекрасная фарфоровая тарелка из мейсенского сервиза, покрутилась над первыми рядами, подлетела к сцене и метрах в десяти над Чашариным прямо и застыла. Чашарин ошалело уставился на тарелку, вскинул винтовку, выстрелил. Пуля ударила в тарелку, однако тарелка не разлетелась, лишь покачалась в воздухе, будто танцует мэнует. Опустилась еще метров на пять. Чашарин выстрелил снова, и опять пуля вызвала лишь кружение взблескивающей в беспечных огнях тарелки.

«Ну нет! Хватит! — отругал себя Данилов. — Экое мальчишество!» Он сейчас же, раскрутив тарелку, отправил ее обратно в комиссионный магазин на Старый Арбат и сдвинул на браслете пластинку с буквой «З». Минутой раньше он забылся, перевел себя в демоническое состояние и устроил развлечение с тарелкой. «Шутник какой нашелся! — никак не мог успокоиться Данилов. — Будто юнец безрассудный!.. А ведь это я из-за Наташи! — пришло вдруг Данилову в голову. — Оттого я юнец, что Наташа здесь!..»

Сконфуженный стрелок Чашарин сказал, что в Уругвае климат не такой, как в Москве, и что он с дороги еще не привык к московскому атмосферному давлению, оттого и нет у него в руках прежней силы. Он сел, а встал худой подвижный человек в сатиновых нарукавниках, по виду бухгалтер, но на самом же деле конструктор машины, писавшей музыку, Лещов. Он сказал, что сейчас его машина, создавая вариации той или иной музыкальной темы или же оркеструя их принятыми композиторами способами, уже готова писать сложные сочинения на десять — пятнадцать минут звучания, не говоря уже о лирических и гражданских песнях. Когда же мы научимся искуснее делать полупроводники, машина сможет писать балеты, симфонии, а при наличии текста и оперы. Скажем, если возникнет нужда, можно будет пустить в машину учебник по алгебре для шестого класса и получить школьную оперу со сверхзадачей.

— А теперь мы попросим, — сказал конструктор Лещов, — солиста театра товарища Данилова Владимира Алексеевича сыграть нам на скрипке шестнадцать пьес, восемь из них написала машина, восемь люди с консерваторским образованием. А потом пусть уважаемая публика и ученые умы определят, что писала машина, а что люди. И давайте подумаем, как нам быть с музыкой дальше...

Данилов вышел на сцену с намерением сразу же поправить конструктора: не был он солистом, а был артистом оркестра и вовсе не скрипку нес в руке. Однако что-то удержало его от первого признания, он лишь, поклонившись публике, учтиво сказал:

— Извините, но это не скрипка. Это — альт.

— Альт? — удивился Лещов. — Так если бы мы знали, что альт, мы бы планировали другой источник звука.

— Ничего, — успокоил его Данилов.

Когда он усаживался на высокий стул, обитый рыжей клеенкой, когда раскладывал ноты на пюпитре, он подумал: а вдруг Наташа ушла из зала и он ее никогда больше не увидит? Но нет, он чувствовал, что она здесь, что она откуда-то из черноты зала смотрит сейчас на него, и смотрит не из пустого любопытства, а ожидая от него музыки и волнуясь за него. И Данилов поднял смычок. Теперь он уже ни о чем ином не мог думать, кроме как о том, что сыграть все следует верно, нигде не сфальшивить и не ошибиться. Он был внимателен и точен, недавние его мысли о том, что сыграть эти пьесы удастся легко, без душевных затрат, казались ему самонадеянностью и бахвальством, в третьей пьесе он ошибся, сразу же опустил смычок и, извинившись перед публикой, стал играть снова. Вдруг у него, верно, все пошло легко, родилась музыка, и дальнейшая жизнь этой музыки зависела вовсе не от разлинованных бумаг, что лежали на пюпитре, а от инструмента Данилова и его рук, от того, что было в душе Данилова, от пронзительного и высокого чувства, возникшего в нем сейчас. «Бог ты мой, — думал Данилов, — как хорошо-то! Так бы всегда было!»

АПТЕКАРЬ

Их развели.

— Платить-то будешь? — спросила Мадам.

— У матросов нет вопросов, — ответил Михаил Никифорович.

Это было лет пять назад, до нашего знакомства с Михаилом Никифоровичем. Заявление написал он. Теперь он темнит, уверяя, что текст заявления не помнит. Мол, что-то там такое было, что вот, мол, от меня ждут аристократических детей, а я, мол, рабоче-крестьянского происхождения, и потому, чтобы дальнейших огорчений не было, прошу развести. Мол, там посмеялись, но недолго, и развели.

В пивном автомате на улице Королева Михаила Никифоровича называли и Михаилом Никифоровичем, и Мишей, и Мишкой, и Аптекарем, и Лысым, и Дипломатом, все вспоминать скучно. Знакомых у него множество, у каждого из них свои обстоятельства жизни и свои основания называть его так или иначе. Да и знакомства возникали тут порой мимолетные, приметы же приходили на память самые случайные. Кто-то запомнил Михаила Никифоровича именно лысым (а Михаил Никифорович раз в год брился наголо), кто-то запомнил его рассказ о том, как он, окончив в своей курской деревне десятилетку, приехал поступать в МГИМО, все сдал, возможно, был бы теперь дипломатом, но на последнем экзамене, немецком, срезался...

Впрочем, представить его дипломатом трудно. То есть, конечно, жизнь то и дело, как и каждого из нас, заставляла Михаила Никифоровича проявлять себя и дипломатом, или, скорее, умиротворителем, но эта его бытовая дипломатия вряд ли бы принесла удачу в международных отношениях. И Михаил Никифорович несколько не жалеет, что не был принят в МГИМО.

Михаилу Никифоровичу Стрельцову под сорок. Рост у него сто семьдесят пять сантиметров, весит он семьдесят девять килограммов. В юности, когда он попал в матросы и узнал прелести флотской кухни, он быстро набрал девяносто два килограмма, клеши на нем были как колокола. Теперь он не толст, живота не имеет, носит подтяжки и производит впечатление крепкого, здорового человека.

Я видел многих родственников Михаила Никифоровича, двоюродных братьев и племянников его. Все они блондины, носы у них острые, тонкие. Михаил же Никифорович черен, таких в роду нет, бриться ему полагалось бы дважды в день, щетина прет, да и тело его, что называется, в шерсти. Нос у Михаила Никифоровича с горбинкой и чуть расплюснутый внизу. Выговор у него южнорусский, курский. Но это когда он забывает, что давно москвич. Тогда и меняет «в» на «у». «Пошел у магазин» и так далее. Знает он и украинску мову, жил в Мариуполе, Запорожье, Харькове. Где только не жил...

Все эти сведения о внешности Михаила Никифоровича и некоторых его особенностях я сообщаю на тот случай, если вдруг кто-то из предполагаемых моих читателей забредет в Останкино, увидит Михаила Никифоровича и сообразит: «Вот он, тот самый...» Но вполне вероятно, что он примет за Михаила Никифоровича и кого-нибудь другого. Виноват тут будет автор. Он воспитан на пренебрежительном отношении к описаниям внешности персонажей, полагая вместе с другими, что в двадцатом веке в этом нет нужды. Что словесные портреты должны занимать более милицию, нежели литературу. Есть фотографии. А ты сколько ни пыжся, все равно опишешь человека так, что всякий увидит его по-своему. Да и стусевался бы автор, принявшись за добросовестное описание внешности Михаила Никифоровича, нет у него в этом умения, свойственного, скажем, людям девятнадцатого века. Но дать кое-какие приметы Михаила Никифоровича я все же не удержался...

А читатель, кого судьба или любопытство заведут в Останкино, может и не утруждать себя, вспоминая мои слова и разгадывая, кто же тут Михаил Никифорович. Если есть нужда, надо просто спросить, и многие Михаила Никифоровича покажут. Возможно, Михаил Никифорович будет в компании знакомых. О некоторых из них речь пойдет позже.

В день же, с какого начались события моего повествования [4], Михаил Никифорович стоял в пивном автомате рядом с дядей Валей. И со мной тоже.

Дяде Вале было под шестьдесят, он работал шофером, собирался на пенсию. В довоенном фильме шпик в котелке кричал полицейским, хватавшим революционера: «За яблочко его! За яблочко!» По общему мнению, дядя Валя был похож на того кричавшего, и иногда некоторые интересовались: «Ну как, дядя Валя? За яблочко его или как?» Дядя Валя посмеивался и говорил: «Но беда-то ведь небольшая, а?» Месяца два он не появлялся в пивном автомате, потом пришел с палочкой. Михаил Никифорович увидел его сегодня впервые после отсутствия, покачал головой.

— Что это с вами, дядя Валя?

— Осколки удалили, — сказал дядя Валя. — с финской еще...

Вчера дядя Валя рассказывал мне, что ногу он сломал, вышел как-то поутру прогуливать собаку, поскользнулся на ровном месте — и, нате вам, в гипс на два месяца.

— Сколько лет сидели, — продолжил дядя Валя, — и ничего, а тут как заньли, на ногу ступить нельзя. «Надо удалять», — говорят. Девять удалили, двенадцать осталось там.

— Надо же, — покачал головой Михаил Никифорович.

— Но беда-то ведь небольшая, а? — заключил дядя Валя.

Новый поворот истории дяди Валиной ноги меня не удивил. Но и сдержаться я не мог:

— Дядя Валя, а вы мне говорили, что сломали...

Дядя Валя поглядел на меня укоризненно. Сказал:

— Правильно. Они и думали сперва, когда меня из «Звездного» вынесли в машину, что сломал...

— Из ресторана, что ли?

— Из ресторана. Из буфета.

— А как же собака? — опять влез я.

— Собака? — удивился дядя Валя. Потом сообразил: — Собака... Ага, я гулял с собакой возле ветеринарной больницы, там и упал...

— А как же ресторан?

— Но беда-то ведь небольшая? — И дядя Валя продолжил, забыв о моих вопросах: — Осколки хотели сначала магнитом вытянуть, может, из кого и вытянули бы, а из меня нет, или магнит испортился. Они и резали. Но все не вырезали. А то бы сухожилия и связки попортили. Вот двенадцать и осталось. С испанской войны...

— Вы говорили, с финской?

— И с финской. С испанской и финской. В Испании пришлось, сам знаешь. Я все хочу в Мадрид съездить. Мне ведь испанское правительство пенсию платит.

— За что же?

— Ты еще не родился, а я бил франкистов!

— Это я понимаю. Но за что же правительству-то вам пенсию платить? Что им, что вы франкистов-то били?

— Я знаю. — Дядя Валя стал серьезным, замолчал, видимо, что-то обдумывая. — Я газеты читаю. Ты меня не так понял. Я сказал, не правительство. Не правительство, а партия...

Он словно бы тяжкий подъем преодолел, слова сразу же стали выкатываться из него легко.

— А ты говоришь — правительство. Стало бы мне их правительство! А партия платит. Поздравления присылают. Меня там помнят все. И Долорес, и другие. Меня их нынешний секретарь хорошо знает. Приходи, я тебе телеграмму от него покажу.

— Это от кого же?

— Ну как его...

— Карилья, что ли?

— Карилья, как ты догадался! Он у меня под Гвадалахарой был на пулемете. Совсем молодой парнишка. Огонь, треск, я ему кричу: «Мишка, тащи быстрее патроны, мать твою!»

— Почему же Мишка? — заинтересовался долго молчавший Михаил Никифорович.

— А мы их по-нашему звали, — сказал дядя Валя. — Мишка да Мишка. Это как же по-ихнему будет, постой...

— Мигель...

— Вот. Мигель Карилья.

— Так это, значит, другой Карилья. Тот, который секретарь, тот Сантьяго Карилья.

— Точно! — вскричал дядя Валя. — Я его Санькой звал, а не Мишкой. «Санька, мать твою!»

— Так его надо было скорее Яшкой звать, — вставил Михаил Никифорович.

— На Яшку он не откликнулся, — сказал дядя Валя.

Помолчали. Михаил Никифорович с дядей Валей закурили. Стояли мы под табличкой «Не курить». Автомат на Королева считался магазином. А магазины не предполагают курения. Тут существовали и иные запреты: «Приносить и распивать...» И так далее. Но коли не приносить и не распивать, откуда же возникнут на полу или прямо в руках уборщиц пустые бутылки, те, что потом мешками — и не раз в день — волокут в магазин на сдачу? Понятно, что про распитие никаких слов и не произносилось. Желających же платить за окурки и выпотрошенные сигаретные пачки не было, оттого в автомате то и дело звучали пронзительные восклицания: «Прекратите курить!» Но сейчас Михаил Никифорович и дядя Валя курили спокойно.

— Мне Батов вчера звонил, — сказал дядя Валя.

— Генерал, что ли?

— Ну да. Генерал. Вот он как раз со мной и был в Испании... — Тут дядя Валя осекся и настороженно поглядел на меня.

— Да нет, дядя Валя, я ничего, — сказал я.

— Что-то вы все об одном да об одном, — заметил Михаил Никифорович.

— А что, есть конструктивное предложение? — оживился дядя Валя и достал рубль.

— Нет, дядя Валя, — быстро сказал Михаил Никифорович.

Он втянул носом воздух, мышца над правой ноздрей его стала знакомо дергаться, можно было понять, что рубля, тем более с сорока копейками, у Михаила Никифоровича нет. И у меня не было.

— Но беда-то ведь небольшая, а? — сказал дядя Валя и спрятал рубль.

Мышца все еще дергалась над ноздрей Михаила Никифоровича.

— А соленые помидоры хорошие продаются в овощном, — неуверенно сказал Михаил Никифорович.

— Ну и что?

— Ничего. Это я так, к слову...

— К слову нужна музыка, — вступил дядя Валя. — Вот однажды Аркаша Островский...

Дядя Валя остановился. Я пошел за пивом, а когда вернулся, дядя Валя говорил об Островском, Ленине, Френкеле, еще о ком-то. Испанскую тему сменила музыкальная. Скоро следовало ожидать перехода к кинематографу. Причем если имена вспоминались дядей Валеи обычно одни и те же, то истории, связанные с этими именами, возникали, как правило, свежие. Много бы музыки не звучало теперь, если бы не дядя Валя. Возможно, что и рапсодии Будашкина для домры с оркестром не было бы. А уж про кино и говорить не приходилось. Десятки фильмов со звуком и без звука, особенно на студии «Межрабпомфильм», вышли при помощи дяди Вали. Как я и ожидал, дядя Валя свернул на Эйзенштейна.

— ...Сережа-то Эйзенштейн, — сказал дядя Валя, — тогда еще не лысый, как раз в тот день приехал ко мне советоваться. Валентин, говорит...

Долгое время дядя Валя считал, что Сережка Эйзенштейн живой и что он, правда, не часто, раз в год, но все же заходит к нему, дяде Вале, домой, на Кондратюка, 14. Однажды я, возбужденный, что ли, был, не выдержал и предположил вслух, что это, наверное, не тот Сережка Эйзенштейн, который поставил «Броненосец «Потемкин». Дядя Валя резко и с обидой возразил, что это именно тот Эйзенштейн и что он хороший и простой мужик. Я хотел было сгоряча притащить из дома в автомат том энциклопедии, но поберег книгу, а дяде Вале посоветовал обратить внимание на мемориальную доску, что висит на одном из домов у Чистых прудов. Видимо, дядя Валя доску эту, проезжая мимо на своем автобусе, рассмотрел, и Эйзенштейн перестал приходить к нему в гости. Однако в предвоенном и военном прошлом он, Эйзенштейн, многое в своих фильмах все еще решал лишь после советов с дядей Валеи. Возможно, дядя Валя и работал в киностудиях водителем, возможно, после войны он был шофером кого-то из композиторов. Возможно. Во всяком случае порой сведения об истории кинематографа и отечественной эстрадной песни дядя Валя сообщал достоверные. Но еще больше он рассказывал о вещах, широкой публике неизвестных. Внимать ему в этих случаях было тем более интересно. Например, я с удовольствием слушал варианты рассказа дяди Вали о том, как его вызвал к себе в июле сорок пятого маршал Жуков, обнял, прослезился, расцеловал за победу и подарил олдсмобиль. Что сделал дядя Валя с олдсмобилем, как-то упускалось. Но не в этом была суть. Мне всякий раз были интересны скачки дяди Валиной бескорыстной памяти. Или воображения, опять же бескорыстного. Иные фантазеры или мемуаристы упрямы, кулаки сожмут, зубами заскрипят, а будут стоять на своем. Дядя же Валя, пойманный на исторической неточности (правда, авторитетным для него человеком, а не каким-нибудь шалопаем), не скандалил, не скулил, не скисал, а будто вспыхивал. «Точно! — го-

ворил он, и радость горела в его глазах. — Как это ты догадался! И как я забыл! Точно, все было не так! Но беда-то ведь небольшая!» И сразу же следовал новый поворот только что рассказанной истории, да такой крутой и бесстрашный, что на душе становилось знобко и празднично. И опять дядя Валя сокрушал врагов или делал искусство в компании с известными всем людьми. И главное, что на финской и на испанской (на Отечественной-то естественно) он был. Впрочем, я скажу: наверное, был, — потому как точно не знаю. Дядя Валя не раз звал меня к себе домой посмотреть всякие документы и фотографии. А я не ходил. Боялся. Вдруг и нет никаких документов. С дяди Вали стало бы. Пришли бы, а он сказал бы: «Где же они? Украли, что ли? Ванька Карась давно грозился украсть! Или жена, когда уходила к таксисту, сожгла...» Предполагаю, что он даже нюхать начал бы, не пахнет ли горелой бумагой. И я точно почуял бы, что пахнет. Вот я и не ходил... А с другой стороны, если бы я увидел свидетельства реальной жизни шофера Валентина Федоровича Зотова, мне труднее (или скучнее) было бы воспринимать его дальнейшие рассказы. Цеплялось бы мое воображение за эти свидетельства...

Тем временем дядя Валя опять достал рубль и повертел им. Мышца над правой ноздрей Михаила Никифоровича снова задергалась. А я развел руками. Меня ждали дела, и рубля не было. С тем я и покинул собеседников...

2

Однажды я зашел в автомат в воскресенье.

Я был с сумками. В одной уже стояли пакеты картофеля. Другая была пуста, ждала молока, сыра и мясных полуфабрикатов. Я пожал руки человеку тридцати. Останкинские мужья в воскресные дни сходились в автомате непременно с отчаянными сумками, а то и с рюкзаками. Некоторых только с этими сумками и выпускали из дома, другие же брали сумки добровольно, желая заработать привилегии в суровом и прекрасном семейном сосуществовании. Личности в тот день пили пиво самые разные, кто с высшим образованием, а кто и со средним. Среди прочих стояли дядя Валя и Михаил Никифорович.

— На рынке был? — спросил меня Собко, в будние дни занятый изучением тайской культуры.

— Видишь: пакеты, — показал я на сумку. — А на рынке картошка тоже небось химическая.

— Ну нет, — возразил Собко. — Я всегда беру у одного хозяина из-под Ярославля. У того на навозе.

Я это знал. А Собко будто бы жене давал положительную информацию. Был он краснощек и бодр и, как выяснилось, через два часа собирался в баню. Картошкой на навозе в глазах жены его поход в баню был уже оправдан. Оттого Собко пил пиво с удовольствием. У иных

же, нынче менее краснощеких и с лицами как бы набрякшими, настроение было не столь благостное. Им и пиво пока не помогало. Вчерашние напитки и лакомства еще угнетали. Кое у кого и кружки в руках дергались нервно. Создавалось впечатление, что эти страдальцы вряд ли вчера смогли бы воспользоваться услугами подземного транспорта. Впрочем, некоторые из них были степенные и с хорошей координацией движений, таких всегда впускают в метро.

— Ну как? — спросил меня Собко. — Киев в этом году или Тбилиси?

— Очень может быть, что и московское «Динамо».

Начался март, самая пора думать о сюжете футбольного сезона.

— Нет, Киев, — твердо сказал Собко.

В автомате темы в разговорах быстро меняются. Мы побеседовали о футболе, о хоккее и тут же перешли к международной политической ситуации. Возник спор о составе китайской дивизии. Толя Серов, лектор и социолог, вспомнил Бжезинского, он читал все его книги и теперь бранил безнравственные построения вашингтонского ястреба. Кошелев сказал, что Бжезинский не стоит и упоминания в нашем пивном автомате, а пора обсудить польскую книгу «Мужчина после сорока». Тут сразу зазвучали анекдоты, имеющие отношение к сути книги. Все отдыхали от воскресных семейных разговоров. Тем более что многим еще предстояло пылесосить и полотерить.

— А ты слушал «Скупого» Пашкевича в Камерном театре? — спросил меня таксист Тарабанько.

Я хотел было сказать, что слушал, но тут дядя Валя сделал шаг вперед, как бы имея в виду меня, но, впрочем, наверное, и других. И достал рубль. Михаил Никифорович тоже сыскал рубль.

— Водку или вино? — спросил Тарабанько.

— Водку! — решительно сказал дядя Валя.

На этот раз деньги у меня были, однако мой желудок дурно переносит смесь пива с вином или водкой, да и размечтался я после слов Собко о бане. Я отказался участвовать в предприятии.

Если бы я знал, от чего отказываюсь!

Почему-то все замялись. Вроде бы и хотели, но руки за рублями не лезли. Наконец Игорь Борисович Каштанов, причудливые изгибы судьбы которого были известны всему Останкину, решил. Был он как раз одним из тех, у кого кружка в руке мелко дергалась. Да и авоська его с буханкой черного и банкой рыбацкой ухи то и дело вздрагивала. Говорил он вяло и как-то обреченно. Всех выспрашивал, не видели ли его вчера после десяти часов вечера. Все, что происходило с ним до десяти, он помнил, что потом — нет. Теперь Игорь Борисович стал третьим. И его можно было понять.

Компания образовалась. Следовало собрать сумму. Водку сегодня можно было купить лишь с черного хода, сумма требовалась усиленная. Михаил Никифорович подумал и выложил еще рубль. Прощу на это обратить внимание! Дядя Валя и Игорь Борисович наскребли по

несколько гривенников каждый. Михаил Никифорович вынул еще сорок копеек [5]. Но суммы все не было.

— Дай, сколько у тебя есть, — сказал мне дядя Валя.

Я сунул руку в карман, мелочи было всего четыре копейки. Дядя Валя взяла четыре копейки, а у Серова шесть и предположил:

— Хватит, наверное.

Михаил Никифорович заметил, что в овощном магазине опять хорошие соленые помидоры. Компаниям дали мелочь на помидоры.

— Кто сегодня торгует? — спросил дядя Валя.

— Зинка и Анька, — сообщили ему.

— Это не мои! — рассердился дядя Валя. — Ну, кто будет гонцом? Кто Зинкин клиент?

Все посмотрели на усатого красавца Моховского, финансиста, прозванного паном Юреком, к нему Зинка относилась как к другу.

— Нет, — помотал головой Моховский. — Я нынче мягко стою.

Действительно, стоял он кое-как, прислонившись к стене. И выражение глаз было у него романтическое. Порой он ласково что-то снимал с плеч и с груди. Наверное, это были невидимые, но известные всем по описаниям Моховского бегемотики.

— Я теперь как облако в штанах, — сказал Моховский. — Дядя Валя, ты читал «Облако в штанах»?

— Нет, не читал.

— А зря. Один тоже не читал, а через два дня дал дуба.

— Ладно, — проворчал дядя Валя. — Ты что, красного, что ли, уже набрался?

Тут в поле зрения дяди Вали попал тихий человек Филимон Грачев. Он работал токарем на «Калибре», было ему лет тридцать, надо полагать, немало шуток выслушал он по поводу своего имени. Низенький и шуплый на вид, руки он всем жал так, будто ему подавали эспандеры. Впрочем, руки протягивали ему лишь люди свежие и наивные, незнакомые с увлечением Филимона гиревым спортом. В автомате Филимон был и первым кроссвордистом. Я сам носил ему кроссворды из «Книжного обозрения». На него-то и поглядел дядя Валя.

— Ну давайте, — сказал Филимон.

Гонцы имели право на пятнадцать капель с бутылки. Стало быть, на пятьдесят граммов. Прошу и на это обратить внимание. Филимон взял деньги. Между тем обнаружили еще пайщики, взбудораженные предприятием дяди Вали, всего Филимону вручили деньги на четыре бутылки водки и на две портвейна «Кавказ». Филимон ушел в шестидесятый магазин. Михаил же Никифорович отправился за милыми ему солеными помидорами.

И вот влажные помидоры с трогательными вмятинами были разложены на газете, чистый граненый стакан покоился в кармане дяди Вали, Игорь Борисович Каштанов движением губ, на звуку у него не хватило сил, попросил меня подержать авоську с продуктами, явился

и гонец, раздал жажущим бутылки, завернутые в белую бумагу. Какое их ждало удовольствие! Но тут взяли и вошли три милиционера.

Один был свой, участковый, старший лейтенант Куликов, два других — старшина и сержант — чужие. Таксист Тарабанько бросился к окнам, углядел у парадного входа в заведение кремовую машину «Спецмедслужбы», известную также в публике под названием «Алло, мы ищем таланты».

— Из вытрезвителя, — сообщил Тарабанько.

— Что-то они так рано? — было общее мнение. — Или план горит?

Все с состраданием поглядели на работника банка Моховского.

— Пойду-ка я домой бегемотиков кормить, — сказал Моховский.

— Ну уж нет! — твердо заявили ему. — Ты только стой. А мы тебя прикроем.

Однако за Моховского беспокоились напрасно. Старальцы из вытрезвителя быстро покинули ни с чем (и уж точно — ни с кем) наш мирный автомат. А старший лейтенант Куликов остался. Он по-отечески беседовал со многими, просил не курить, и создавалось впечатление, что скоро из автомата он не уйдет.

Михаил-то Никифорович не спешил. Он, как обычно, не столько сам хотел выпить, сколько желал кого-нибудь угостить. Чтобы беседа шла приятней. А уж вокруг вилося несколько малознакомых личностей, явно любителей выпить на халяву. И дядя Валя, похоже, потерпел бы, дождался бы отхода лейтенанта Куликова. А вот организм Игоря Борисовича Каштанова требовал участия. И немедленного! Михаил Никифорович сжалился над бедным Игорем Борисовичем, сказал:

— Ну пойдем на детскую площадку.

И они пошли. Михаил Никифорович (взяв, конечно, помидоры). Каштанов. Дядя Валя со стаканом в кармане. Гонец Филимон Грачев... Шествие их и теперь перед моими глазами.

Обладатели остальных бутылок до ухода лейтенанта Куликова от принятия доз решили воздержаться.

Кто-то с сумками из нашей компании уходил, кто-то прибывал с теми же как будто бы сумками. Разговор тек по многим руслам, пиво шло пока хорошее. Отбыл из автомата лейтенант Куликов. Но присутствие его полагалось чувствовать еще полчаса, бутылки оставались нераскупоренными. Пора было бы вернуться с детской площадки четвертым, а гонцу Филимону Грачеву следовало бы получить со всех пайщиков по пятнадцать капель. Однако четверо не шли, вызывая у нас догадки и опасения. Не увезла ли их кремовая машина? Не свалилась ли с крыши льдина и не разбила ли бутылку? Какое-то предчувствие холодило нашу компанию.

И нелишним было это предчувствие!

Вошли четверо. Мы сразу поняли, что они странные.

— Вы что? — спросил я.

— Да ничего, — сказал Михаил Никифорович.

Но мышца над ноздрей его чуть ли не рвалась. Дядя Валя икал. Зрочки Филимона Грачева сдвинулись к переносице. Игорь же Борисович шел бесчувственный, вид его был жуток. Но при этом внимательный глаз мог бы угледеть, что из карманов Михаила Никифоровича высовываются бутылки коньяка и дяди Валин карман не пустой.

— Ну что? Приняли? — спросил я.

— Нет! — дядя Валя чуть не закричал.

И последовал рассказ о случившемся на детской площадке...

Понятно, им, в особенности Игорю Борисовичу, уже не терпелось. Сорвали штемпель, дядя Валя держал стакан. И тут из бутылки вышла женщина. Бутылка и поначалу насторожила дядю Валу. В Останкине водка идет исключительно Московского ликерно-водочного завода, редко когда — Александровского. А тут на крышке было обозначено: Кашинский ликерно-водочный завод. Хотели дать в морду Грачеву, но тот справедливо пожал плечами — ходили бы сами. Кашинский значит Кашинский, лишь бы стакан был чистый. И все же нехорошее чувство возникло у дяди Вали. Сам он не стал открывать бутылку, а передал ее Михаилу Никифоровичу. И когда Михаил Никифорович открыл бутылку (а дядя Валя держал стакан рядом), из нее вышла женщина. А может, девушка. Женщина-то хрен с ней, но бутылка-то оказалась пустой. Никакой жидкости в ней уже не было. Игорь Борисович вздрогнул. А тут женщина, которая не просто стояла как человек, а плавала над детской площадкой, заговорила. Здесь я передаю сведения, какие мы получили от четверых. Михаил Никифорович и вообще не большой оратор, да и камни бы ему не мешало подержать во рту, дяде Вале в этот раз не хотелось бы верить, язык Игоря Борисовича от нетерпения лишь трясся, Филимон Грачев с большим бы удовольствием, нежели говорил, руки бы жал, поэтому мы, слушая четверых, информацию из их нервных слов как бы выковыривали. Итак, женщина не только вышла из бутылки, но и заговорила. Слова ее были примерно такие. Она, мол, раба человека, который купил эту бутылку. Все выполняю, что он захочет, по любому желанию. Наверно будет так. И далее в этом роде. Дядя Валя ей возразил, что пошла бы она подальше, но пусть вернет при этом водку. Тем более что Игоря Борисовича бьет колотун. Она тоже возразила, что она кашинский эксперимент и что колотун в ее образовании — пробел. К словам об эксперименте отнеслись серьезно, но Игоря Борисовича надо было спасти. «Давай две бутылки коньяку армянского розлива и портвейн «Кавказ», раз ты придуриваешься, и катись, а не то сдадим в милицию!» — сказал ей дядя Валя. Она как-то поморщилась чуть ли не брезгливо, будто ждала более замечательных просьб, но востребованные бутылки возникли. Потом она опять сказала, что она раба хозяйна бутылки («Хозяев! — поправил ее дядя Валя. — Мы — на троих!»), другие слова говорила, некоторые проникновенные, выходило, что она то ли фея, то ли ведьма, то ли какая-то берегиня. Она и на землю опустилась, а ножки у нее были стройные, или же их обтягивали хоро-

шие джинсы. Михаил Никифорович осмелел и попытался даже из дружеского расположения взять женщину за талию. Она тут же вспыхнула, как бы взорвалась, и исчезла. Кашинская бутылка выпала у Михаила Никифоровича из рук и разбилась. Все вокруг зашипело, а голые ветки тополей и яблонь долго вздрагивали. Остаться на детской площадке компания, понятно, не могла...

— Вы хоть теперь-то дайте выпить Игорю Борисовичу, — сказал Собко. — А то он упадет.

— Неизвестно, что это за коньяк такой, — возразил Михаил Никифорович, — выпьешь и превратишься еще в козла, как братец Иванушка.

— Давай! — резко сказал Игорь Борисович.

Было видно, что ему теперь все равно, в козла так в козла, а то действительно упадет. Михаил Никифорович не сразу, и несколько отстранив от себя бутылку, отодрал крышку и вырвал пробку. Все были в напряжении. Однако из бутылки никто не вышел. Игорь Борисович ухнул стакан, проглотил помидор. Его приставили к стенке.

— Ну кто еще будет? — спросил Михаил Никифорович.

— А! Давай я! — отважился дядя Валя.

Конечно, это была пошлость — пить коньяк в пивном заведении. Водка и вино ладно... Но даже я попробовал из бутылки с детской площадки. Раз такая история. Ереванского он розлива или нет, определить никто не мог. Да и подумаешь! Что за чудо такое, ереванский-то розлив.

— Нет среди нас братцев Иванушек, непорочных душ, — сказал Собко.

— Это верно, — согласился Игорь Борисович Каштанов.

Он оживал, и я посчитал возможным возратить ему авоську с черным хлебом и рыбацкой ухой.

— Наврали они все! — решил таксист Тарабанько, поставив на полку стакан, освобожденный им от портвейна «Кавказ».

— А ты что, им поверил, что ли? — удивился Собко. — Ты что, дядю Валю не знаешь?

— А откуда у меня взялись деньги на коньяк? — возмутился дядя Валя. — И на портвейн?

Тут все зашумели, стали высказывать предположения, откуда взялись. Во-первых, дяде Вале срочно из Испании на детскую площадку подослали прибавку к пенсии. Вроде прогрессивки. Во-вторых, таких видных мужчин, как Михаил Никифорович или Игорь Борисович, многие женщины захотели бы взять на содержание, вот они и стали для начала приманивать их коньяком. В-третьих, Филимон Грачев мог по дороге продать вырезки с кроссвордами какому-нибудь особенному любителю.

— Ну галдите, галдите! — сказал дядя Валя. — А вот вы сейчас откройте другие бутылки, которые принес Филимон, из них, может, чего похуже женщины выйдут.

Действительно, те бутылки еще не трогали. Пришла их пора. Первое разочарование ждало нас при осмотре крышек: перед нами была продукция (я оставляю тут в стороне бутылки «Кавказа») исключительно Московского ликеро-водочного завода. Когда крышки сдернули, жидкость в бутылках осталась.

— А что ж ты нам-то подсунул Кашинского завода! — закричал дядя Валя на Филимона Грачева. Он был готов пойти врукопашную.

Филимон уже принял все свои капли и к разговору с дядей Валей не был расположен. Только пробормотал:

— Да что вы все злюки какие-то...

Раздались сомнения по поводу существования Кашинского завода вообще. И что за место такое — Кашин? Есть ли оно? И был ли кто в нем? Я развеял сомнения. Я был в Кашине. Стоит Кашин на тверской земле, на речке Кашинке, час плыть по ней тихим пароходом до Волги, и это один из самых приятных городов, какие довелось мне увидеть на Руси. Что касается ликерно-водочного завода, то и такой стоит в Кашине, лет уже сто пятьдесят как стоит.

— Ну вот видите! — обрадовался дядя Валя. — Мне не дадут соврать! Есть завод-то! И Кашин есть! На тверской земле!

— Валентин Федорович, — уважительно сказал Собко, — существование Кашина и столь замечательного завода еще не может стать основанием веры в ваши слова о женщине, вышедшей из бутылки.

— Я один, что ли, ее видел? — горячо заявил дядя Валя. — А эти трое? Мишка, так тот ее и за зад хватал!

— Я не хватал, — сказал Михаил Никифорович. — И не за зад. Я ей руку положил на талию. Для поддержки. Она чуть не упала. Там ведьхламу много, на детской площадке.

Многие из страдавших с утра ожили теперь, как и Игорь Борисович Каштанов, и тоже с удовольствием вступили в беседу. В женщину, конечно, никто не верил, но отчего же и не поговорить о ней?

— И что же, ты и тело ее почувствовал? — спросил Толя Серов.

— Почувствовал, — сказал Михаил Никифорович.

— Ну и как?

— Тело как тело, — пожал плечами Михаил Никифорович. — Женское.

— И сколько ей лет?

— Лет двадцать, — сказал дядя Валя. — Девчонка.

— Нет, нет, двадцать семь, — предположил Михаил Никифорович. — Дама в соку.

— Вот с такими щеками, — сказал Филимон Грачев. — И зубы кривые. Клыки!

— С какими еще щеками! Где клыки! — возмутился Игорь Борисович. — Она точно фея.

— Ведьма, — сказал Филимон. — Шесть букв лежа. Четвертая буква мягкий знак.

— Постоите, — сказал Серов, — она раба хозяина бутылки, да? Так чья же, выходит, она раба?

— Я понимаю твой интерес, старик, — сказал Собко Серову, — ты дал им шесть копеек.

— При чем тут шесть копеек? — обиделся Серов. — Я в теоретическом плане. Кто хозяин бутылки? И кто хозяин этой женщины?

— А мы на троих, — сказал дядя Валя. — Мы трое и хозяева.

— Тут все нужно уточнить, — продолжал Серов. — Паи-то вы вносили разные...

— Чего уточнять, — сказал дядя Валя. — Она на троих, и все. Она и сама понимает. Я ей велел: гони коньяк. Она — тут же.

— Да никто не оспаривает, дядя Валя, ваших прав, — поморщился Серов. — Но вот Михаил Никифорович внес два сорок, стало быть, у него прав больше ваших.

И снова начались прения. Нам бы — кому на рынок, кому домой, к житейским обязанностям, к умственной работе, к мировым проблемам, а мы все говорили про женщину, будто у нас своих фей и ведьм не хватает в квартирах. Начали даже считать. Два сорок внес Михаил Никифорович, это все видели. Рубль сорок четыре были дяди Валины, рубль тридцать шесть Игоря Борисовича. Итого пять двадцать. Шесть копеек взяли у Серова, четыре у меня. Сумма.

— Вот и делите акции, — сказал Серов.

Собко выразил сомнение насчет Серова и меня как акционеров, заметив, что мы не вносили паи, а просто у нас взяли деньги подлинные пайщики. Я и не претендовал ни на какие права. Но нашлись защитники и моих интересов. А как быть с Филимоном Грачевым? Мог ли он считаться одним из хозяев бутылки? Или гонец и есть гонец, пусть и с пятнадцатью каплями? Подавали голоса люди, не пожалевшие мелочь на помидоры, в том числе и Кошелев, но их урезонили, сказав, что из помидоров никто не вышел. Таксист Тарабанько указал как на существенное обстоятельство на то, что именно Михаил Никифорович открыл бутылку.

— Джинн, — сказал он, — всегда служит тому, кто его выпустил.

— Джин! — проворчал дядя Валя, недовольный этим соображением. — Ты еще скажи — виски! Нам на их нравы наплевать! У них своя посуда! А у нас была водка, старорусская, понял?

И все же сомнения остались. Ясности в ситуации с женщиной в нашей компании не было.

Тогда и возникли Шубников и Бурлакин, шумные люди. Закричали:

— Здорово, дети подземелья!

Были они ровесники, прожили по тридцать пять лет, оба носили бороду и усы. Но Бурлакин, кандидат наук, математик или ракетчик, работавший в хорошей фирме, казался бородатее Шубникова. Борода у него росла лопатой и была черная, как благодарность. Бурлакин был известен публике и тем, что раз в четыре месяца назло врагам неделями изнурял себя голоданием. Друг его Виктор Шубников окончил

когда-то кинематографический институт (выпускников и студентов ВГИКа было всегда немало в нашем автомате), или не окончил, работал на телевидении, потом был фотографом, потом массовиком на турбазе, потом кто знает кем, теперь нигде не работал, а по субботам и воскресеньям торговал на Птичьем рынке щенками. Имел в базарные дни по семьдесят, а то и по сто рублей. Кандидат наук Бурлакин ему ассистировал. С утра они скупали у мальчишек псин дворовых пород, а часа через два предлагали солидным людям благородных животных с княжескими родословными. Оба были артисты. Мы ездили на Птичий рынок смотреть их работу.

От большинства торговцев Птичьего Шубников с Бурлакиным отличались интеллигентностью (Шубников кроме бороды носил еще и очки). Таким можно было верить. От таких можно было без раздумий приобрести ньюфаундленда, пусть он и походил на помесь дворняги с таксой. Рассказывали, что однажды некоей дорого одетой даме Шубников сторговал хомяка, увезенного Бурлакиным из живого уголка 280-й школы, выдав хомяка за щенка-суку северокавказской овчарки.

И вот они теперь вклинились в нашу компанию, громкие, напористые, удачливые, видно, что с Птичьего рынка, а потом и из рюмочной на Таганской площади. Услышав историю кашинской бутылки и женщины, Шубников радостно заорал:

— Михаил Никифорович, ты мой золотой! А ты ведь должен мне два с полтиной. Брал неделю назад. Должен?

— Должен, — сказал Михаил Никифорович. — Вот бери.

— Ну уж нет! — захохотал Шубников. — Теперь я у тебя не возьму. Считаю, что это мои два с полтиной пошли на ту бутылку. Стало быть, и все права на женщину мои!

— Точно! Его! — закричал Бурлакин.

— Таких, как ты, я в гражданскую расстреливал, — сказал дядя Валя. Потом добавил, указав при этом не только на Михаила Никифоровича и на Игоря Борисовича, но — для убедительности — и на нас с Серовым: — Мы, пайщики, клали на твои вонючие два с половиной.

Шубников был наглец. Иные заходят в троллейбус и робко объявляют — «сезонный», «единный», будто в чем-то виноваты, а Шубников басит: «Пригласительный!» — и садится. Однако он не любил какие-либо свои предприятия подводить к мордобою. Впрочем, тут он заупямился.

— Мои права есть мои права, и я от них не откажусь!

— Точно! Не отказывайся! — снова заорал Бурлакин.

Публика зашумела. Некоторые считали, что коли два с половиной рубля имели место, то почему бы не принять их во внимание. Тем более что Шубников был брошенный женой и в будние дни — без реальных источников дохода. Большинство же полагало, что мало ли кто кому должен. И тут именно стали вспоминать, кто кому и сколько был должен. Разговор грозил принять малоджентльменский характер.

— Да прекратите! — громко заявил Собко. — Из-за чего шум? Из-за женщины, которая из бутылки... Пошутили, и хватит. Не было ее и нету!

— Вон, вон она! — вскричал дядя Валя. — Идет!

Палец его указывал в сторону двери. Действительно, мимо стойки с раздатчицей монет Поиной шла женщина. Красивая. Со вкусом одетая. Волосы русалочьи. Трезвая. И что-то трепетное, ищущее было в ее глазах, стремилась она к кому-то. И не было в ней ни ненависти, ни брезгливости, ни чувства превосходства, ни победительной решимости, какие бывают у женщин, являющихся в наш автомат за своими мужчинами...

— Фея! — тонко произнес Игорь Борисович Каштанов.

— Ведьма, — пробормотал Филимон Грачев, — злюка какая-то...

А мы замерли, молчали в оцепенении. Метров семь оставалось дойти ей... И тут двое мужчин, направлявшихся к выходу, заслонили ее, и, когда они прошли, женщины уже не было, а на ее месте столб синего дыма утекал потихоньку к потолку.

— Как будто бы она, — задумчиво сказал Михаил Никифорович.

— Видимо, никак контактов с нами не может установить, — предположил дядя Валя. — Что-то ломается в ней.

— Да бросьте вы! — сказал Серов, социолог. — Она же в дубленке! Как же это она в дубленке из бутылки вышла? Из кашинской!..

И все же мгновенная пропажа женщины удивила. Впрочем, нынче они именно в мгновение могут появиться и в мгновение пропасть... Разговор теперь шел как бы по инерции. Все будто притихли. Или задумались. Даже Шубников с Бурлакиным не шумели, не трясли бородами, не требовали ничего. Долго молчавший финансист Моховский произнес в связи с этим (а может, и просто так) свою любимую фразу:

— Главное, не бежать впереди паровоза.

И все потихоньку стали расходиться.

А Михаил Никифорович остался.

3

Дней десять не был я на улице Королева.

В среду зашел в автомат часа в четыре. Думал, постою минут десять и уйду. Знакомых было мало. Я подошел к Мише Лескову, тридцатилетнему инженеру-энергетику. Лесков болел за «Торпедо», с «Торпедо» и начался у нас разговор.

— Да, ты знаешь, — сказал Лесков, — Анатолий Сергеевич Серов в субботу будет есть шапку.

— Нет, не знаю.

— Он тебя разве не пригласил?

— Что значит пригласил? Я просто один из тех, в присутствии кого он обязан есть шапку. Если он порядочный человек.

— У него две шапки.

— Есть он должен ту, что из каракуля. Он в ней спорил.

— Я вчера встретил Собко, — сказал Лесков. — Он говорит, Серов объявил: шапку будет есть в субботу.

Серов не верил в фортуна наших хоккеистов, в споре был упрям и безрассуден, а может быть, в тот вечер в автомате давал выход раздражению, причины которого нам были неизвестны, во всяком случае называл нас дураками и ставил на чехов. Спорил он сразу с шестью ценителями хоккея, и идея относительно шапки посетила именно его. Он тогда кричал: «Вы будете есть шапки, а я на вас погляжу!» Прошло три недели, и, когда стало ясно, что не мы теряли шапки, а обречен его коричневый пирожок, Серов вдруг заартачился. Мол, все это шутка и у нас должно быть чувство юмора. «Руки разбивали?» — спрашивали его. «Разбивали», — соглашался Серов. «Тогда ешь!» Вскоре многие перестали здороваться с ним, дали понять, что лучше ему съезжать из Останкина, здесь не любят людей, не умеющих держать слово. И вот Серов сделал объявление о субботе.

— Ну а Михаил Никифорович как? — спросил я.

Михаил Никифорович жил в соседнем доме, и по возвращении с работы ему нелегко было миновать автомат. По сведениям Лескова выходило, что за неделю Михаил Никифорович изменился. Больше молчит, пьет одно пиво и словно бы о чем-то думает. И глаза у него то мечтательные, то печальные. Видно, происходит что-то в его душе. А возможно, у него какие-нибудь неприятности по службе. Михаил Никифорович тоже спорил с Серовым, вернее, Серов и его вынудил спорить с ним. Как и Игоря Борисовича Каштанова, меня, Собко, летчика Германа Молодцова и Володю Холщевникова с телевидения. Михаил Никифорович Серов жалел и поначалу поддерживал старания того назвать весь этот спор шуткой. Конечно, шутка, согласился автомат. Но шапку он пусть ест.

Тут зашел в автомат сам Михаил Никифорович. Действительно, был он грустный.

— Что так рано? — спросил Лесков.

— Что-то неможется в последние дни, — сказал Михаил Никифорович. — Станный какой-то стал.

Он закурил. Стояли мы теперь не под табличкой «Не курить», а под гордостью автомата, да и всего Останкина — большим медным листом на деревянной основе, за который управление торговли уплатило чеканщику триста шестьдесят два рубля. Посреди листа была выбита радующая душу кружка, курчавая, как борода Зевса, медная пена вываливалась из нее. По обе стороны кружки лежали тарелки: справа на тарелке был расположен рак, слева — какая-то рыба, полторы штуки, нередко среди свежих посетителей автомата возникали споры, лещ ли это, рыбец ли, сырок или же чехонь? Или же еще какая-нибудь историческая особь. Ясно было, что не вобла. Замечательная эта чеканка, как бы компенсировавшая отсутствие в автомате какой-либо закуски

к пиву (кроме сушеного картофеля в пакетах), появилась здесь после ремонта. До ремонта заведение на Королева было грязным и вонючим. Некоторые женщины, неизвестно зачем возникавшие в мужском гуле, в сигаретном дыму, кривились и, может, вспоминали о противогазах или иных средствах гражданской обороны... Голубовато-серые ободранные стены — пространство для движения рыжих тараканов, немые плитки под ногами располагали к тому, что прямо под ноги и бросали всякую дрянь — промасленную бумагу, яичную скорлупу, огрызки бутербродов, да чего только не валялось на полу! И пиво из кружек туда плескали. Мерзко тут было! Впрочем, никто об этом не думал, лилось бы пиво и не было бы разбавленным. А после ремонта, что вы! Мастера отделали помещение под избу, обшили стены досками, доски же покрыли лаком. Там и тут появились деревянные подзоры, солнца, полотенца и орнаментальные полосы с языческими мотивами. Под одной из арок поставили чугунные ворота, а за ними на жердочках разместили вьющиеся растения — как бы зимний сад. И вот чеканка. При такой чеканке дрянь уже не хотелось бросать на пол, руки сами тянулись к урнам. Раньше чего в туалете только не писали! Какие люди не оставляли здесь своих имен («Вася-псих из Оренбурга», «Коля из МИСИ, дипломник» и прочие), какие истины здесь не провозглашались! Теперь осталась только одна надпись в центре чистейшего потолка, видно, пожалели ее маляры: «Пусть стены этого сортира украсят юмор и сатира!».

Но сегодня и чеканка с закусками не радовала Михаила Никифоровича.

— Что это ты? — удивился Лесков.

— Да так... — вздохнул Михаил Никифорович. Тут он словно вздрогнул, зрачки его забегали, будто отыскивали кого-то в толпе, Михаил Никифорович напрягся... Но вскоре напряжение отпустило его. — Показалось, что ли... — пробормотал Михаил Никифорович. — Никто не окликал меня?

— Никто, — переглянулись мы с Лесковым.

— Не первый раз на этой неделе... — сказал Михаил Никифорович. — Будто кто-то хочет поговорить со мной. Но словно бы звонит из испорченного автомата...

— А ты попроси перезвонить, — предложил Лесков.

— Это не так смешно, — сказал Михаил Никифорович. — И моя душа будто ожидает чего-то, стремится, что ли, к чему-то...

Фраза была совершенно несвойственна Михаилу Никифоровичу. Мы с Лесковым опять переглянулись и, видимо, подумали об одном, но решили странной темы вслух не касаться.

— У тебя в аптеке, может, чего стряслось? — предположил Лесков. — Ну, в субботу развеешься. Серов будет есть шапку.

Эта новость несомненно оживила Михаила Никифоровича.

А в автомате становилось теснее. Уже спрашивали, нет ли лишних кружек. Тогда и появился Игорь Борисович Каштанов. Заметно воз-

бужденный. К нам он не подошел, а остановился метрах в десяти, у окна. Потому как был с дамой. Даму эту мы хорошо знали.

Это была Татьяна Алексеевна, лет тридцати от роду, бывшая жена участкового милиционера. Но не Куликова, из-за кого наши пайщики ушли на детскую площадку, а приятеля Куликова лейтенанта Панякина, участкового иных кварталов. Но, может, и не приятеля, а так, сослуживца. Впрочем, бывшего сослуживца, потому что в милиции Панякин уже не работал.

Года два подряд Игоря Борисовича Каштанова сжигала страсть к Татьяне Алексеевне. Одно время он сильно пил, не имел средств, дружба с Панякиной его устраивала. Бывало, сидит он дома в тоске в час ночи, вдруг — стук в дверь, на пороге Татьяна Алексеевна, оставившая спящего мужа в квартире, и при ней авоська с пятью бутылками вермута. Игорь Борисович даже думал тогда жениться на ней. Татьяна Алексеевна иногда и на месяцы переходила жить к Каштанову. Служебные чины уговаривали ее вернуться по-хорошему. Но где уж там! Разве можно было женщине уйти от Игоря Борисовича!

Игорь Борисович Каштанов мужчина был примечательный. Окончил два института. Сначала строительный. Потом кинематографический. И как-то быстро сделал карьеру. Ему, молодому, дали редактировать журнал. Он и сам в ту пору пописывал. Выпустил с соавтором две книжки. Журнал дали не очень именитый и не толстый. Но журнал. Как полагается. Для Игоря Борисовича он был звездой пленительного счастья. И деньги приносил. Но что тогда были для Игоря Борисовича деньги! Бывало, в дни, когда Игорю Борисовичу выдавали гонорар или авансы, жена его, а Игорь Борисович был женат и любил свою Олю, посылала доверенных лиц, целую экспедицию, Долотова в числе других, сопровождать Игоря Борисовича в странствиях от кассы до дома. Но и доверенные лица не спасали семейство Каштановых от предвиденных затрат. Пройдет Игорь Борисович по дороге домой сквером, увидит на скамейке влюбленную пару и посыплет ее десятками. Спустится в туалет по нужде, протянет червонец уборщице, попросит: «Помолись, бабушка, за меня, грешного!» А доверенные лица, Долотов в том числе, бывали к тому времени уже в таком праздничном состоянии, что и свои десятки были готовы рассыпать по скверам. Или вот. Знаменит в Останкине ресторан «Звездный». Так Игорь Борисович снимет его на вечер, встанет в дверях и приглашает в зал любого проходящего по улице Цандера, кто ему приглянется. Он застолья любил в ту пору куда крепче, нежели заседания редколлегии. А потому и продержался редактором полгода. Душа его однажды поутру находилась в рассеянном состоянии, чуть притупилось, и он напечатал какие-то легкомысленные или даже безответственные фотографии. Его низвергли. «Ничего, — решил он, — будет больше времени для настоящей литературы». Он много надежд возлагал на свою прозу. Но она шла трудно. И Игорь Борисович оставял на столе чистую бумагу и шел в автомат на Королева, тогда еще с винными и коньячны-

ми кранами. Жена Оля стала его упрекать. Правда, говорила: «Пей, но пиши. Я готова тебя кормить, но ты пиши». С работы Оля возвращалась последнего. Игорь Борисович каждый день спешил домой из автомата к пяти, садился за машинку, брал том Платонова, перепечатывал из мастера страничку и вечером предьявлял ее жене. Оля умилялась, говорила: «Вот видишь, ты же талантливый, как ты пишешь! Неужели ты не можешь взять себя в руки!» Однако потом и перепечатывать Платонова стало Игорю Борисовичу лень. Ольга ушла от него.

Но давно это было. Лет десять назад.

И без работы и без жены Игорь Борисович существовал скорее весело, нежели грустно. В автомате, в ресторанах Останкина и Выставки он пребывал даже неким героем со всякими неправдоподобными легендами. Многим было интересно посмотреть на него и тем более напоить и накормить Игоря Борисовича, эти люди и на могилу Сережки Есенина ездили с вареными яйцами и белыми бутылками. Оставалось у Каштанова немало влиятельных друзей или приятелей, жалевших его, желавших вернуть Игоря Борисовича в большую жизнь, они устраивали ему командировки и авансы. Командировочные Игорь Борисович охотно брал, но никуда не ездил, а широко гулял. Заклучал и авансовые договора, однако не выполнял своих обязательств. На квартире его всегда было шумно: звучали и мужские голоса, и, конечно, женские, и благородное стекло звенело, заставляя старушку, подселенную к Игорю Борисовичу после отъезда Оли, тихо сочинять в своей комнате жалобы на соседа. Иногда сердиты были на Игоря Борисовича и его гости. Кое-каких денег, и будто бы немалых, не обнаруживали они, случалось, в своих карманах и бумажниках. Некоторые горячие люди стремились что-то доказать Игорю Борисовичу кулаками. Порой готовы были сразиться с Игорем Борисовичем и неудачливые мужья. Дважды наносили ему тяжелые удары пивными кружками по голове, вызывая потерю сознания. Но Игорь Борисович выходил из больницы и улыбался. Он вообще был обаятельный.

Но тут в судьбу Игоря Борисовича вмешались судебные исполнители. Уж очень он задолжал разным учреждениям. И пришлось Игорю Борисовичу работать, чтобы расплатиться за командировочные и авансы. Сначала он был устроен мойщиком троллейбусов в проезде Ольминского. А затем его направили ночным сторожем в павильон юннатов Выставки. Игорь Борисович сокрушался, что все это дела не творческие, и был обрадован, встретив однокурсника по строительному институту. Тот взял его к себе в контору. Был Игорь Борисович разнорабочим, потом стал учетчиком, а потом и прорабом. Долги все еще висели над ним. Но надо сказать, что в последние месяцы Игорь Борисович был аккуратнее. Не в смысле внешнего вида. Тут Игорь Борисович даже и в дни безобразий был опрятен и красив, всегда в костюме, белой рубашке и при галстукке. Нет, теперь он мог зайти в автомат трезвый, взять лишь пару кружек пива и ни с чем то пиво не смешать. Говорили, будто страсть его к Татьяне Алексеевне угасала.

А Игорю Борисовичу пришлось многое перетерпеть из-за этой страсти. Панякин развелся с Татьяной Алексеевной, но все же пытался вернуть ее в дом, действовал и угрозами. Игорь Борисович вступался за честь Татьяны Алексеевны, порой с нарушением правил, а потому однажды был увезен с улицы Королева в известном направлении на пятнадцать суток. Потом запил Панякин, был уволен из милиции и иногда брался с Игорем Борисовичем на наших глазах в автомате. И вот теперь Игорь Борисович начал жить аккуратнее. Страсть его к Татьяне Алексеевне, может, совсем утасла, Татьяна же Алексеевна все крутилась возле Игоря Борисовича, и сейчас разговор их с расстояния представлялся нам нервным.

— Вот, вот, опять! — быстро сказал Михаил Никифорович.

— Что — опять? — спросил Лесков.

— Кто-то окликнул меня.

— Не слышал, — признался я.

— А как тебя окликали-то? — спросил Лесков. — По имени или по фамилии?

— Не по имени и не по фамилии, — угрюмо ответил Михаил Никифорович.

В это мгновение Игорь Борисович Каштанов, чуть ли не кричавший до того что-то Татьяне Алексеевне, встал перед ней на колени, вернее, припал на одно колено, как подданный или как раб, и замер на секунду с опущенной головой. Татьяна же Алексеевна выпрямилась, застыла, будто дочь сандомирского воеводы вблизи фонтана, правую ногу выставила вперед и носком ее постукивала теперь по керамическому полу. Игорь Борисович поднял голову, протянул руки к постукивающей этой ноге — возможно, в то мгновение для Игоря Борисовича и царственной — и снял с нее туфлю. Тут в его движениях вышла задержка. Туфлю он был вынужден поставить на пол и обратился к авоське, висевшей на крюке под полкой, вынул оттуда бутылку портвейна «Агдам», бутылку эту открыл. Татьяна Алексеевна держала ногу несколько на весу, видимо, не желая запачкать чулок. Игорь Борисович наполнил туфлю портвейном «Агдам», бутылку утвердил на полу, поднял туфлю торжественно, будто держал в руке турий рог, оправленный золотом, и был намерен читать стихи, губы его шевелились, потом он церемонно выпил темно-красную жидкость и, не вставая, преподнес туфлю Татьяне Алексеевне. Татьяна Алексеевна туфлю приняла. Рассмеялась зловеще и с силой с размаху туфлей ударила Игоря Борисовича по щеке. Громко заявила: «Так будет всегда!» — надела туфлю и победительницей отправилась к выходу. Игорь Борисович вскочил, побежал на улицу за Татьяной Алексеевной.

— Страсти-то какие! — сказал Лесков. — А ты, Михаил Никифорович, со своими сигналами!

Рассказывая об эпизоде с Игорем Борисовичем и туфлей, я как бы выделил его из жизни автомата, будто бы перенес его на сцену. У людей несведущих могло возникнуть впечатление, что жизнь в автомате

прекратилась, все только и были заняты отношениями Игоря Борисовича и Татьяны Алексеевны, глазели на них. Нет. Движение людей с кружками вокруг Игоря Борисовича не прекращалось, если кто и смотрел на него, то так, краешком глаза. Между прочим. Мало ли какие драмы и комедии могли произойти сейчас на других площадках автомата. Кому какое дело до манер Игоря Борисовича! Ну хочет пить на коленях, ну пусть и пьет. Может, ноги его не держат. Это мы, знакомые Игоря Борисовича, проявили к нему внимание, и при этом нас более всего занимала мысль, будет ли пить Игорь Борисович из этой туфли... Однако выпил...

— Фу-ты, как можно пить из такой разношенной! — поморщился Михаил Никифорович. Михаил Никифорович был известен своей чистоплотностью, кружки в автомате мыл минут по пять, хотя и понимал, что толку от этого мало. — Пойду-ка я подышу свежим воздухом...

Он дышал, я беседовал с Лесковым, и тут меня как будто бы кто-то окликнул. Назвал по имени и отчеству. Голос был женский. Я оглянулся. Женщины рядом не было. Спросить Лескова, окликал ли кто меня, постеснялся. «Неужели это из-за тех четырех копеек?» — подумал вдруг. И сейчас же прогнал нелепую мысль. Однако же кто-то окликал...

Автомат был уже забит. Знакомые люди теснились рядом. Кто-то принес кильку, кто-то болгарскую брынзу. Пили уже пиво дядя Валя, летчик Герман Молодцов, два брата инженеры Камиль и Равиль Ибрагимовы, Володя Холщевников с телевидения — тот угощал черными сухариками, приготовленными особым способом, с подсолнечным маслом и чесноком. Появились и таксист Тарабанько, и усатый красавец Моховский, работник банка, он же пан Юрек, и тихий человек Филимон Грачев. Зашел на этот раз и Коля Лапшин. Он, как и дядя Валя, был шофером и тоже имел склонность к фантазиям. Фантазии Лапшина от дяди Валиных отличались. Лапшина влекли иные, нежели дядю Валу, моральные ценности, иные доблести и геройства. Коле было тридцать четыре года. Однако из его рассказов выходило, что он уже провел в колониях особого режима не менее пятидесяти лет. Убивал, участвовал в групповых насилиях и разбоях, грабил банки. Некоторые слушали рассказы Лапшина внимательно и уважали его. Верили, например, что он своим основным предметом может поднять ведро с водой или разбить граненый стакан. Другими же слова Лапшина брались под сомнение. В особенности дядей Валея. Дядя Валя готов был показать людям, что он-то ладно, а вот Лапшин по всем статьям лгун. Банков не грабил, никого не насиловал и примерный семьянин. Сегодня Лапшин пришел сильно покорябанный. В черных очках. И лоб его и щека были ободраны, а под глазом цвел синяк.

— Асфальтовая болезнь? — участливо спросил дядя Валя.

— Еще чего! — обиделся Лапшин. — Опять задавил.

— Насмерть?

— Насмерть. Восьмой труп. Дура баба. Выскочила откуда-то, а там лед. Она как на коньках и прямо под меня.

— А морду где покорябал?

— А я в столб.

— Врешь, — сказал дядя Валя. — Восьмого давишь — и ни разу не был виноват?

— Ни разу. Они сами.

— Дурочку-то не валяй! Мордой вчера проскребся по асфальту. А нам лапшу на уши вешаешь. У тебя и фамилия такая — Лапшин!

— Да ты! Да я тебя!

Их разняли. Лапшин еще бурчал что-то, а в зал вошли Михаил Никифорович и Игорь Борисович Каштанов. Каштанов был по-прежнему возбужденный. Минуты через две в автомате появился Собко, можно было предположить, что в его кейсе, как и всегда, лежит купленный по дороге килограмм трески горячего копчения в сетке. Так оно и оказалось. Треска была предложена нам.

— Ты что как обожженный воробей? — спросил Собко Игоря Борисовича Каштанова.

— Они нынче вино «Агдам» из туфли пили, — сказал Михаил Никифорович.

— Пил! Ну пил! — взорвался вдруг Игорь Борисович. — Что ты, Миша, понимаешь! Что ты видел в своих курских деревнях! — Игорь Борисович размахивал руками, движения его были красивыми. Как бы поставленными.

— А что же это вы туфлей по лицу схлопотали? — не выдержал Лесков.

— Ну... — сник вдруг Игорь Борисович. — А-а!.. Мне жалко ее... Да что говорить!.. Тут такой узел... И не развязать и не разрубить!..

И на глазах Игоря Борисовича появились слезы. Всем стало неловко. Кто-то пошел за пивом, тихий человек Филимон Грачев достал вырезку с кроссвордом, многие сразу принялись гадать вслух, какой же такой персонаж пьесы Островского «Без вины виноватые» из пяти букв.

— Серова нет, — сказал Собко, — а он просил напомнить, что известное событие у него в субботу в четыре часа.

Все зашумели, заговорили о шапке.

— Подумаешь, пирожок из каракуля! — сказал Лапшин. — Я однажды на спор съел радиолампу.

— Крошил, что ли, и глотал? Какую лампу-то?

— ЛД-34. Не крошил, а прямо жевал.

— Врет он! — обрадовался дядя Валя. — Он хлеб-то губами мнет. И лапшу.

— Я вру?! — вскипел Лапшин. — Да давай мне прямо сейчас лампу! Хоть целый приемник!

— Опять, — тихо произнес Михаил Никифорович.

— Ты что?

— Опять кто-то зовет меня...

— Тебе, Миша, действительно лечиться надо. Малинки бы тебе на ночь...

Но тут странная сила подняла, подбросила Михаила Никифоровича, повлекла его ввысь, несколько секунд на глазах у публики, растерянный, он висел возле самой чеканки и мог даже коснуться волшебной кружки с курчавой пеной, а потом был опущен на пол.

Хорошо хоть, Лапшин был среди нас в тот вечер. Он заговорил первый.

— Это что! — сказал Лапшин. — А вот меня однажды в Калмыкии, только я в сайгака прицелился, так прихватило и подняло, что я полчаса висел над степью, тут мне бы по нужде сходить, а я ружье держу, штаны расстегнуть нечем, и сайгак убежал...

Эти слова Лапшина нас несколько успокоили. Даже дядя Валя не стал на этот раз оспаривать его сведений. А, видно, подмывало его сказать что-то относительно штанов...

4

И пришла суббота.

Накануне Серов обзвонил всех кого следовало и подтвердил насчет четырех часов.

Была обговорена и процедура субботней встречи. Решили, что и со стороны проигравшего и со стороны победителей должны присутствовать секунданты или ассистенты, которые обязаны следить за чистотой исполнения условий пари. Чтобы потом Останкино не сомневалось. Победители могли пригласить также друзей — по другу на победителя. Желая проявить великодушие и не подрывать экономическую мощь семьи Серовых, мы постановили: совместить друзей и секундантов.

— Как хотите, — сказал Серов. — На стол уже все куплено.

Стол у Серовых был накрыт богатый. Напитков хватило бы и на две смены друзей. Было и пиво. Серов, оказывается, собирал кружки, прекрасные экземпляры их, числом почти пятьдесят, были вывезены им из разных пьющих и непьющих стран, и теперь он хотел, чтобы мы опробовали в деле его коллекцию.

— Всеу свое время, старик, — справедливо заметил Собко.

Игорь Борисович Каштанов явился без ассистента и без друга. Михаил Никифорович привел дядю Валю. Не такой уж дядя Валя был ему друг и ассистент, но, видимо, по дороге к Серову Михаил Никифорович увидел дядю Валю и позвал. Я так думал потому, что сам, гадая, кого вести к Серову, заметил тихого человека Филимона Грачева в печали и пожалел его. Летчик Герман Молодцов опоздал, он летал с утра куда-то в низовья Волги и прибежал к Серову без друга, но с семикилограммовым сазаном. Сазан был опущен в ванну. Ассистентом со

стороны Собко был признан адвокат Миша Кошелев. Посоветовавшись, доверили ему составление протокола. Володя Холщевников с телевидения тоже пришел без друга. Казалось, Серов был несколько обижен столь малым числом участников встречи, он ждал более серьезного отношения к себе. При нем были два ассистента, его соседи. Конечно, присутствовала и жена Серова, Светлана Юрьевна, блондинка, веселая и крепкая. Такая, наверное, и в городки могла удачно играть.

Надо сказать, что большинство из нас впервые попало в дом Серова. Мы стеснялись Светланы Юрьевны. Известно, что может думать жена о знакомых мужа по пивной. Но Светлану Юрьевну наше происхождение не смущало. Возможно, она вообще была женщина без предрассудков.

— Ну что? — сказал Серов. — к столу? И нальем?

— Нет, — покачал головой Собко. — Мы не будем. До этого. А ты можешь.

Собко был самый крупный из нас и самый рассудительный, в командиры не лез, но порой виделся и командиром.

— Давай шапку, — сказал Собко.

Серов сразу стал серьезным, пошел за шапкой. Внес ее он торжественно на блюде для заливной рыбы. Утвердил на столе.

— Нож точил? — спросил Собко. — Или будешь грызть?

— Точил, — вздохнул Серов.

— Но жевать-то ему все равно придется, — предположил летчик Герман Молодцов.

— Мы решили, — сказал Собко, — для облегчения твоей участи разрешить тебе воспользоваться растительным маслом или сметаной. Можешь макать кусочки в жидкость.

— Нет, — сказал Серов строго. — в этом нет нужды.

«Экая в нем гордость», — подумал я.

— Ты не робей! — вступил дядя Валя. — Михаил Никифорович врач, поможет, если что...

— Да, старик, — подтвердил Собко, — дело тут рискованное, и мы попросили медицинского работника иметь при себе аптечку, английскую соль и клизму.

Лицо Серова так и осталось строгим, а вот крепкая блондинка Светлана Юрьевна обрадованно рассмеялась. И мы поняли, что она не только крепкая, но и задорная.

— Прошу победителей, побежденного, секундантов и протоколиста, — сказал Собко голосом церемониймейстера, — занять свои места. А уж Светлану Юрьевну в особенности.

Места были заняты мгновенно. Один лишь Серов не сел, застыл в задумчивости, его не теребили, может, он так себе и намечал — кушать стоя. Серов глядел на шапку. И мы стали глядеть на нее.

Некоторая метаморфоза происходила в нашем отношении к этой шапке. Раньше мы на нее и не обращали внимания. Ну шапка и шапка

на голове у Серова. Ну пирожок. Правда, из каракуля. По нынешним временам, стало быть, дорогая вещь — только такое летучее соображение прежде и являлось. Но теперь-то перед нами, лишенная своей бытовой функции, переместившаяся с головы Серова или с вешалки в прихожей на фаянсовое блюдо для заливной рыбы, шапка превращалась в нечто особенное, чуть ли не в живое существо, которому сейчас предстояло быть принесенным в жертву, предстояло погибнуть и исчезнуть. Коричневые тугие завитки, казалось, вздрагивали и шевелились в ожидании заклания. Но и Серов будто бы сейчас изменился, словно бы разросся — так виделось мне, — стал фигурой особенной, идолом каким-то или жрецом...

— Не жаль вам вещи-то? — обратился летчик Герман Молодцов к Светлане Юрьевне.

— У него есть еще одна, — рассмеялась Светлана Юрьевна. — А в случае чего пришлют шкурку, из Бухары.

Их слова отчасти нарушили возвышенные состояния наших душ. Но отчасти...

Собко снял часы с руки, положил на стол, сказал:

— Я засекаю время.

— Да, да, — кивнул Серов.

Нас он и не видел сейчас. Возможно, тоже находился мыслями и душой в неких высях. А впрочем, был он человеком практическим, как тот же Герман Молодцов, и вполне мог теперь думать и о стоимости вещи или же об услугах Михаила Никифоровича.

Но вот Серов сел на стул, подвинул блюдо к себе, взял вилку и нож. Наточенный нож долго не мог справиться с каракулем, еще и подкладка мешала. Теперь приходилось жалеть о том, что накануне не было консультации с понимающими людьми, хотя бы со скорняками и шорниками, и вот Серов маялся, разделявая меховое изделие (живое жертвенное существо из квартиры уже как будто бы исчезло). Наконец он отрезал кусочек, выпилил, выковырнул его. Вцепиться в мех вилка не смогла, и Серов, забыв о приличных манерах, сдернув салфетку, пальцами сунул кусок шапки в рот. Долго жевал. И вот кадык его дернулся, челюсти разжались.

— Проглотил? — спросила Светлана Юрьевна.

— Проглотил, — кивнул Серов.

Тут мы ожили. Можно было и к угощениям тянуться. Но мы не потянулись. Серов стал отрезать новый кусок. Потолще.

Надо ли было ему есть дальше? Не одному мне, чувствовалось, пришла в голову эта мысль. Ну ладно, проявил Серов готовность к исполнению условий пари, убедил нас в том, что сможет, испортил шапку, и хватит! Мы строгие, но отходчивые. Кто-то сказал об этом, правда, робко. Как бы от себя. Но Серов продолжал. Резал, жевал и проглатывал. Тут уже и Собко произнес с некоторой надеждой:

— Ну, наверное, хватит, старик.

Но Серов только мотнул головой... Минут через пятнадцать он съел уже треть шапки. Он стал нас раздражать. Создавалось впечатление, что он издевается над нами или — хуже того — получает удовольствие от своей пищи. Нам-то какво! Что же нам-то смотреть, как он выламывается, смотреть на стол, на котором стынут и сами по себе холодные закуски. И в этом богатом столе виделось уже нам заранее придуманное издевательство. Когда Серов мучился с первым куском каракуля, он был нам друг. Теперь же, обедающий в одиночку, он стал нам врагом. А судя по скорости движения его челюстей, нам еще предстояло сидеть дураками не менее сорока минут.

И тут Серов подавился.

Он вздрогнул, дернулся, подался вперед, будто его должно было вырвать. Мы сразу же поняли, что дело тут серьезное. Михаил Никифорович подскочил к Серову, стал колотить его по спине. Не помогло. Лет десять назад один мой знакомый погиб оттого, что ему в дыхательное горло попал кусок отбивной. Сейчас Серов откинулся на стуле и был похож на того знакомого. Глаза его закатились, лицо синело. Лишь однажды дернулись веки, шевельнулись губы, какое-то усилие делал Серов, последнее, прощальное, или молил о чем-то, просил спасти, но сразу же лицо его стало неподвижным.

— Толя! Толя! — кричала Светлана Юрьевна. — Нет! Нет!

— В «скорую»! Надо в «скорую»! — бросился к телефону Собко. — в реанимацию!

— Миша! Ты же медик!

— Разрешите! — услышали мы вдруг.

Мы обернулись.

Женщина шла к столу. Шла быстро. Мягко, но и с силой отстранила, чуть ли не оттолкнула Михаила Никифоровича, склонившегося над Серовым, руку опустила на лицо Серова, прошептала что-то тихое, спокойное, и Серов ожил.

Он встал и принялся ходить вдоль стола. Правая рука его поднималась, будто указывая на нечто, и губы дергались. Сначала его движения показались мне бессмысленными, но потом я понял, что он пересчитывает свои коллекционные пивные кружки.

— Анатолий Сергеевич, — сказала женщина, — вы сядьте.

Серов поглядел на нее удивленно, но не сел.

— Толик, — сказала женщина ласково, — сядь.

Серов кивнул, подошел к своему стулу, сел. Недоеденная шапка лежала перед ним на рыбном блюде.

Теперь удивленно поглядела на женщину Светлана Юрьевна. Потом она перевела взгляд на мужа, взгляд этот как бы соединил женщину с Серовым, и было в нем подозрение.

Надо сказать, что хождение Серова вдоль стола нас несколько успокоило. Суетились мы вокруг потерявшего сознание Серова, понятно, перепуганные, понимание же всей серьезности случая должно было прийти к нам после. И вот мы отдышались. Все сознавали, и тем

не менее мысли наши об отлетевшем ужасе, о возможности гибели Серова были теперь легкими. То ли оттого, что Серов ожил и позволил себе энергичное хождение вдоль стола. То ли оттого, что за его стулом стояла новая для нашей компании женщина.

— Садитесь, — твердо сказал Серов. — Надо доесть.

— Да ты что! Зачем! Хватит! — зашумели мы.

— Нет, — сказал Серов. — Садитесь.

И он доел шапку.

Доел быстрее, чем следовало ожидать. Мы не так волновались теперь и за него и за себя. Только Светлана Юрьевна нервничала, но не из-за шапки. Серов стал вытирать салфеткой губы, а Светлана Юрьевна сказала с укоризной:

— Толя, ты освободился и, может быть, познакомишь нас с новой гостьей?

— Я не знаю ее, — сказал Серов, впрочем, тут же спохватился, поклонился незнакомке, сказал: — Извините...

— То есть как не знаешь! — теперь уже с угрозой произнесла Светлана Юрьевна.

Этой угрозы я от нее не ожидал. «Ты врешь! — читалось на лице Светланы Юрьевны. — Ну а если и незнакома, что же торчит здесь, могла бы уже и катиться!»

Неловко нам всем стало.

— Это моя ассистентка! — вскричал дядя Валя. — И даже не моя! А Михаила Никифоровича! Ведь он тогда бутылку открывал! Не я же! Михаил Никифорович, ты что молчишь! — И дядя Валя толкнул Михаила Никифоровича в бок.

— Да... — пробормотал Михаил Никифорович, — моя... она... подруга и эта...

В иной раз педант Собко обратил бы наше внимание на то, что Михаил Никифорович привел уже одного друга и ассистента, а именно дядю Валю, и, стало быть, хватит. Но тут он промолчал.

— И как же вас зовут? — улыбнулась Светлана Юрьевна подруге Михаила Никифоровича.

Незнакомка словно бы растерялась.

— Любовь Николаевна ее зовут! — обрадовался дядя Валя.

— Да, Любовь Николаевна, — быстро согласилась гостья, — Любовь Николаевна Кашинцева. Или просто Люба.

— Что же вы стоите-то, Люба, — подскочил дядя Валя, — вы садитесь вот сюда, между мной и вашим Михаилом Никифоровичем.

Любовь Николаевна села, дядя Валя тут же обхватил ее за плечи, Любовь Николаевна руку его сняла, прошептала дяде Вале что-то строго, но доверительно, отчего дядя Валя рассмеялся и сказал громко:

— Но беда-то ведь небольшая, а?

А Михаил Никифорович нахмурился и взглядом дал понять дяде Вале, что поведение его бестактное.

— Да я же к Любочке как отец, — объяснил свой порыв дядя Валя.

А Светлана Юрьевна отошла. И на Любовь Николаевну и на Михаила Никифоровича смотрела ласково. Победу Серова над каракулевой шапкой отметили шумно, со звоном бокалов. Протоколист Миша Кошелев представил нам проект протокола; имевшие право подписаться под ним — подписались. И понеслось застолье.

Тут мы потихоньку рассмотрели Любовь Николаевну.

Женщина она была приятная. То есть так казалось. Это именно она пыталась подойти к нам в автомате, но двое мужчин заслонили ее, и она исчезла. Тогда она шла к нам в свежей дубленке и большой лисьей шапке. И теперь она была одета прилично. Не знаю, какие нынче наряды в Кашине — я был там в последний раз лет пятнадцать назад, — но, во всяком случае, наша Любовь Николаевна провинциалкой не выглядела. Для Москвы, оговорюсь, для Москвы! Может быть, для какого-нибудь Парижа она была явная провинциалка. А для нас внешность и манеры ее сошли вполне за светские. К Серову явилась она в джинсовом костюме, и было видно, что костюм этот не от «Рабочей одежды». В красоте, или, вернее, миловидности, ее лица виделось нечто стандартное, но, впрочем, забавный короткий нос, полные губы, тихая крестьянская улыбка, правда, редкая, отчасти эту стандартность разрушали. И была сегодня у Любви Николаевны коса, темно-каштановая. Но не та коса, которая для иных женщин, особенно пышных, становится как бы сущностью природы, а коса, скорее, декоративная, элемент сложной прически, сочиненной дамским мастером в стиле ретро. Нет, неплохо выглядела подруга Михаила Никифоровича, и не наблюдалось в ней ни необыкновенных щек, ни кривых клыков, обещанных нам Филимоном Грачевым. Как и Михаил Никифорович, я дал бы ей лет двадцать пять — двадцать семь.

Сидела она смирно, больше молчала. Как бы прислушивалась и присматривалась к нам. Даже я ощутил дважды ее заинтересованный взгляд. Словно бы исследовательский. Мы и сами на нее глазели. Экое явление! Впрочем, скоро застолье отвлекло нас от наблюдений за Любовью Николаевной. Пошли в ход и коллекционные кружки, Светлана Юрьевна принесла из кухни горячие креветки, в шуме и звоне Любовь Николаевна как бы утонула: была она за столом и не было ее. Однако через час мы о ней вспомнили. Курильщики решили выйти из-за стола, я не курю, но тут понял, что и мне нужно выйти. И так случилось, что у шахты лифта мы оказались всемером: Михаил Никифорович, Игорь Борисович Каштанов, дядя Валя, Филимон Грачев, я, Серов и Любовь Николаевна.

Курила она «Новость», Игорь Борисович протянул ей зажигалку, она затынулась, пальцы у нее были тонкие, красивые.

— Извините, пожалуйста, что я об этом поведу речь, — сказала Любовь Николаевна, — но мне ночевать негде.

Мы молчали, смотрели в стены.

— Вы ведь разбили бутылку там, на детской площадке, — сказала Любовь Николаевна. — Где же мне жить?

— У меня вся комната завалена гирями и гантелями, — хмуро заявил Филимон Грачев.

— Жить я имею право лишь у основных владельцев бутылки, — сказала Любовь Николаевна деликатно, как бы извиняясь перед Серовым, мной и Филимоном.

Мы с Серовым только головами покачали. Вот, мол, какие печальные обстоятельства.

— Любовь Николаевна, — галантно произнес Игорь Борисович Каштанов, и было видно, что говорит он искренне, — я бы с удовольствием ввел вас в мой дом, но моя соседка тут же наскребет жалобу, я же в плохих отношениях с райисполкомом.

— А я импотент! — выскочил дядя Валя. — У меня был климакс! Я тем более не могу.

— При чем тут импотент? — удивился Каштанов.

— А при том! — обиделся дядя Валя. Потом он сказал: — И бутылку я не открывал и не разбивал. Я бы посуду сдал. Это Мишка трахнул ее о кирпичи!

— Я же нечаянно... — пробормотал Михаил Никифорович.

— А у меня из-за этой бутылки... — жалобно произнесла Любовь Николаевна, и губы ее нервно вздрогнули, — у меня из-за нее... Я и прийти-то к вам не могла... И...

Она сразу же замолчала. Видно, и так сказала лишнее.

— Не печальтесь, Любовь Николаевна, — заверил ее растроганный Каштанов. — Мы вас пристроим. Вот у Михаила Никифоровича однокомнатная квартира.

— Да уж, — обрадовался дядя Валя, — ты, Миша, бери ее! Ты бутылку разбил!

Мы поддержали Каштанова и дядю Валу.

— Пожалуйста, — неуверенно произнес Михаил Никифорович, — только ведь Любовь Николаевна — женщина, я буду стеснять ее.

— Ничего, — сказал дядя Валя. — Да я бы на твоем месте!..

— Я столько пережила за эти дни... — сказала Любовь Николаевна. — Мне так нужно было выйти к вам, а я не могла... Вот только когда ощутила просьбу Анатолия Сергеевича, лишь тогда я прорвалась...

Мы вспомнили то мгновение. Просьба Серова, а то и мольба его, была существенная... Но сейчас мы уже думали о Любви Николаевне. Стояла она тихая, нежная, с влажными глазами, и мы расчувствовались, жалели ее, хотели бы ее поддержать, а то и приласкать, как беззащитное дитя.

Тут нас позвали к столу: была подана индейка.

— Знаете, — сказала Любовь Николаевна, — пока это все снова не случилось...

— Пока глаза у нас еще умненькие! — уточнил дядя Валя.

**ШЕВРИКУКА,
ИЛИ ЛЮБОВЬ К ПРИВИДЕНИЮ**

В Останкине, как известно, живут коты, псы, птицы, тараканы, люди, демоны, ведьмы, ангелы, привидения, домовые и иные разно-мыслящие существа. Среди прочих и Шеврикука.

Домовым Шеврикука был приписан к зданию № 14 по 5-й Ново-Останкинской улице. Дом этот тянулся (и нынче тянется), не перегибаясь в спине, почти от улицы Цандера до Аргуновской. От созидателей он получил почтительный титул «Дом-корабль», в обществе же назывался «Землескребом». Если бы нашлись умельцы и поставили дом № 14 на попу, имелись бы основания считать его небоскребом. Но умельцы в ту пору добывали прокорм в Атлантик-Сити, Осаке, Абиджане, местные же труженики смогли лишь разложить новое останкинское жилище по земле, и Шеврикука получил в нем должность домового-двухстолбового. Название должности вывел, и, видно, натошак, какой-нибудь Почеши-Затылок или Раздолбай-Компьютер, задрипанный канцелярист с пятнами от фломастера на ушах, Шеврикуке скучно было его произносить. Хотя должность его и считалась на три степени выше пустячной. Но ее ли был достоин Шеврикука? Вот тебе раз, пеняли ему, и так вовсе не дом в три оконца из гнилых уже бревен, с летними капризами мух, с душевными томлениями угасающего сверчка, со злоющей старухой владелицей был уготован ему, а два столба в Землескребе, два подъезда о девяти покоех, этажах то бишь, с четырьмя квартирами при каждой двери лифта. Что врут, ворчал Шеврикука, откуда нынче три оконца? А в кураже он ерепенился, шуршал, шумел, он-де мог бы держать весь дом. «Ну вот, — замечали ему. — А куда же девать кадры?» Кроме Шеврикуки, поставлены были в Землескреб, по причине его протяженности, еще восемь домовых-двухстолбовых. Шесть из них, судя по ведомости, размусоленной все тем же невидимым канцеляристом, Почеши-Затылок, Дать-Ему-В-Рожу, Раздолбай-Компьютер, были и не коренными, московскими, а вывезенными из поселений, оказавшихся под водой. Вода, скорее всего, имелась в виду историческая. «Своих, что ли, не хватает? Мало ли в Москве домов рушат! — возмущался Шеврику-

ка. — Зачем же еще и из далей завозить?» «Подремите в холодильнике, — говорили ему. — Экий вы горячий». А дальних не только завозили, иные из них пристраивались сами, сами пробивались из мест опустевших, помятых, погоревших, потопленных или осознающих себя помятыми или потопленными. Москва им представлялась в их запечьях и закутках Вертоградом многоцветным, где и стоило осуществлять служебное рвение, растеплять потухшие было привычки и предания в надежде, что тут-то — и нигде более — накормят пряником и наградят серебряной ложкой. Шеврикука не был высокомерен, сам когда-то в пору затей государя Алексея Михайловича и просвещенного боярина Ордина-Нащокина приехал в первопрестольную в обозе изпод Можайска, в мешке с горохом, но уравнивать себя с новопробретенными столицы, на его взгляд, неумехами, однако наглецами, не имел сил. Оттого порой его числили в оппозиции и в засаде. Впрочем, причину тут выводили неверно, на домовых из соседних подъездов Шеврикука серчал нечасто и по делу, а так в отношении к ним был ровен и терпелив. Недовольства его и ворчания проистекали от иных досад.

Потянул бы он весь Землескреб. Почему бы и не потянуть? При нынешней-то нетребовательности москвича, напуганного смутой жизни, непременно потянул бы. Если бы захотел. Если бы его попросили. Но никто не просил. И не всякую просьбу Шеврикука согласился бы уважить. Если бы стали его улещивать останкинские чины и краснобаи, он бы их унизил отказом. А те, чье расположение могло оказаться и уместным, не просили. Хуже того, было известно: те-то — не все, но один из тех — в разговорах, возможно, и печать налагающих, называли Шеврикуку плутом, лодырем, вралем, пройдохой. Еще и пронырой. И еще — бузотером. Ну ладно бы просто называли. Мало ли чего не наговорят сгоряча болтуны, пусть и самые рукодержашие. А то ведь и расставляли для него шлагбаумы. Может, даже и капканы, коли не брезговали охотничьим промыслом. Впрочем, капканами Шеврикука мог себя наградить и в мечтаниях. Кто он был таков, чтобы ставить ему капканы? «А вот таков! Таков! — раззадоривал себя Шеврикука. — Что и капканы закажут!»

Должен заметить, что среди прочих комплиментов слова «плут» и «проныра» менее всего обижали Шеврикуку. Ну плут, ну проныра — и что здесь дурного? Это именно в пятистенке с котом на печи, со сверчком, с хозяином, его женой и чадами был хорош тишайший лежебока, лишь бы дом благоденствовал и не прыгали бы по столу миски с борщом. А нынче-то, когда обслуживать приходится и не людей, не жильцов на Земле, а квартиросъемщиков, персонажей дэзовских бухгалтерий, с излишеством набитых в братских подъездах, друг друга отличаемых фотоликами на карточках покупателей, натурами скандальными, как нынче-то не крутиться плутом и пронырой? Много ли выйдет проку без плутовства и пронырства? То-то и оно. А он, Шеврикука, был способный... И слово «враль» его не особенно раздражало. Ну враль, а кто теперь не враль? Хотя деликатнее и справед-

ливее было бы аттестовать его фантазером. Или даже мечтателем. С воображением. Но то, что его отнесли к лодырям и лоботрясам, было Шеврикуке досадно. Сами кто они будут, аховые работнички! Только что дадено им носить в парадные дни кружевные воротники, штаны с витым шнуром-сутажом, а если парадные дни зимние — валенки, подшитые тремя слоями красной галошной резины и утепленные внутри кроличьим мехом. И опять же ходят легенды об их парадных бязевых кальсонах, будто бы они на гусином пуху и украшены сердитыми желтыми цветами с жостовских подносов. Да, унижать квартальных домовых, обзывать их, топтать на них ногами в этаких валенках и кальсонах им дозволено статусом. Но дообзываются и дотопаются.

Ну, предположим, теперь он лодырь и лоботряс. Оттого что надоело. Обрыдло. Сам себе позволил быть лоботрясом. Что нынче усердствовать в Останкине? Главное — не разрешить себе воровать, до этого Шеврикука еще не добрел и вряд ли добредет. Но судить о его сути, лоботряс он или не лоботряс, мог лишь он сам, а не всякие жуящие пастилу чины с плоеными кружевами у шей (от испанских грандов, что ли, или от лотарингских гуманистов? Кому-то ведь, начитанному, ударило в голову, и зазвенели коклюшки). При этом, конечно, Шеврикука соображал, что, если бы его попросили и призвали, он бы и брыжжи одобрил, и валенки, и парадные кальсоны, но не призывали негодяи, отцы-командиры, держали в Землескребе, числили лодырем и все же наверняка ставили ему капканы. А ведь даже теперь при всех числителях и знаменателях судьбы Шеврикуки его подъезды в Землескребе были самыми опрятными. Знать об этом кому следует полагалось.

Удивительно опрятными. И не из-за намеренных напряжений Шеврикуки. Просто сам он был опрятен, таким сложился в ходе воспитания чувств и привычек. Возникали недоумения с мылом, зубными пастами, мужскими одеколонами, дезодорантами, и Шеврикука страдал. Хорошо хоть рядом произрастал Ботанический сад с травами и кореньями. Правда, на варево лечебных и чистых снадобий требовалось время. Шеврикука клял отечественную парфюмерную промышленность, бывшую в пору энтузиазма Трестом Жиров. «Где теперь наши знаменитые духи «Красная Москва», они же до Учредительного собрания — французские, «Подарок императрице», где их флакон с красной бумажкой? Ни духов, ни флакона!» — гневно восклицал Шеврикука. И варил снадобья, не торопя жидкость. Зачастил и в баню. Благо новые либеральные установления предполагали полуденные отгулы за ночные труды. А Шеврикуке хватало и часа полтора сна в календарные сутки. Впрочем, и прежде, даже и при самых коварных порядках, он находил способы путешествий в парную. Хоть бы и прикинувшись березовым веником.

Опрятной была и одежда Шеврикуки, тем более что он добывал ее из воздуха. Когда-то Шеврикука (звали его иначе) и сухой горошиной

мог проехать в мешке из жогайского села Колычево в стольный град. Были времена, и не столь отдаленные, когда домовым и некоторым иным существам было предписано рожу человеку не казать, фигуры не иметь, внешним видом никого не пугать и не очаровывать, а лишь невидимо производить звуки и перемещать предметы. «А русалки? — роптали домовые на сходах. — Им можно! У них всего в обилии. И там, и тут. И чешуя. А что они умеют, кроме как шекотать? А лешие, а водяные! У них в сырости и в туманах фигуры, пожалуйста, проступают...» «Русалки нас не касаются, — разясняли смутьянам. — Это потопшие девы... А лешие и водяные и обязаны пугать смутными фигурами». Понятно, что выражения недовольства и отпора ему приводятся здесь чрезвычайно упрощенные и простодушные, а домовые были вовсе не амобы и не инфузории. Впрочем, что мы знаем толком и про амобы с инфузориями?..

Но жизнь-то человека катилась, кувыркалась, неслась, отправляя высокомерием заблуждений домовых вместе со всякими костяными ногами, мальчиками-с-пальчик, обижающими людоедов, в фольклорные издания, в сноски к заключениям ученых умов, в мельтешение цветных картинок на экранах ради потехи детишек, и Шеврикука все чаще и чаще позволял себе, глаз кося на крутые предписания, гулять по Москве в человечьем подобии. Да разве он один! И никого своим присутствием он не смущал. Этот когда-то лишний человек в деревне, в слободе, еще в сороковые годы даже и в Москве, во дворах нашего Напрудного переулка и уж тем более в коммунальной квартире, вызывал любопытство и требовал разяснений. Но сколько в столетии случилось столпотворений, перемещений народов, несуряиц с брожением умов и населения, погоняний кнутом и револьвером, каш людских, в коих удачникам полагалось ходить по головам, телам и душам. При них никаких разяснений от лишних существ не требовалось. Словом, немало Шеврикука получил уроков прилежания и поведения. А теперь-то, когда Москва уже и не проходной, а пролетный двор, сосуд суеты, куда можно плюнуть, но плюют на тротуар; скопище людей, где сосед не знает соседа, где полно заезжих зевак, добытчиков с сумой на колесах, трибунов при микрофонах, командированных усовершенствователей народного блага, негодяев с автоматами, ножами и взрывными устройствами, виртуозов наперстка, летучего жулья, купцов с вареными штанами, бомжей, пришельцев, — чего теперь-то было опасаться в прогулках по городу домовому Шеврикуке? Паспорт если только или визитку предложат показать в магазине. Но для Шеврикуки вырастить сейчас же в кармане паспорт, талоны, карточки и еще что там введут было делом простейшим.

Помимо всего прочего, в уложениях произвели поправки, на взгляд авторитетного домового Артема Лукича исторические. Или судьбоносные. И раньше множество оговорок, конечно при угрозе невременных и полезных наказаний, позволяло домовым появляться «в телесном виде вблизи основного и первопричинного городского насе-

ления», под которым, естественно, подразумевались люди. Но появляться в случае крайней служебной необходимости, лишь «инкогнито», не открывая принадлежности к своему сословию и уж тем более — тайн сословия. (Слово «сословие», видно, льстило умам, его употребившим, или даже казалось им дерзким из-за объявленной в нем претензии, но никак не передавало сути той живой ветви мироздания, к которой относились и домовые.) В последние же сезоны, когда, по наблюдениям блюстителей правил, в мире, а у людей и в Москве в особенности, все разболталось (в Останкине — тем более), домовым «в телесном виде» было «дозволено свободное посещение людей». С отвагой дозволено. Или даже с вызовом. Этот вызов Шеврикука сначала почуял, а потом и определил на ощупь, а потом и вычислил. Эко на что замахнулись забияки или гордецы из их робкого и прикладного по предназначению сословия! Не вдели ли они при этом гвоздики в петлицы или серьги в уши, не запели ли хором: «Мы с птицами будем на равных!», не побросали ли в костры муаровые ленты с вечными на них словами «Все для человека!»? Нет, конечно, такого никто и позволить себе не мог, никто и жеста не произвел с покушением на основы, что уж говорить о кострах, лишь несколько строк в документе было вычеркнуто и вписано тихонькое: «дозволено свободное посещение...» Но все же, но все же... Шеврикука чуял...

Немало нашлось и недовольных новым правовым допущением. Староверы всегда отыщутся. О прогулках Шеврикуки домоседы ворчали и раньше. Прохвост, он и есть прохвост, утешали себя, ему и зачтется. Сами же они продолжали невидимо кряхтеть и стонать в чуланах, в подполах либо на чердаках, а теперь на антресолях, в водопроводных трубах, полагая, что способствовать домашнему строительству они могут мыслями или же душевными посылами. Все иное — ложно. Телесный вид они принимать не собирались, лишь, получая повестки, выползали какими-то закорючками, кривыми засохшими колобками в присутственные места на выволочку или для поощрений. Впрочем, и с такими случались катавасии. Совершенно неожиданно никому не ведомый как личность, известный лишь по прозвищу Пост-Одоевский, домовый с улицы Кондратюка, из дряхлых ветеранов, вылез, наверное, из банки с чайным грибом, воплотился в бугая-отставника в выцветшем кителе со следами погонов и стал ходить на все демонстрации — и в Лужники, и на Манежную площадь, и к телецентру. Каждый раз он волочил с собой транспарант «Уравняем домовых в правах с таксистами и работниками метрополитена!». А потом завел и флаг с четырьмя полосами — фиолетовой, черной, оранжевой и серой. Был он в толпе уместен, никто его ни о чем не расспрашивал и не обижал. К тому же он так научился орать, что и желающих обидеть его не отыскивалось. Опять же никому не ведомый и не видимый домовый Попичкуев, из тех же колобков и закорючек, превратился вдруг в учивого господина с «дипломатом», знающего четыре языка, слез со своего шестка и принялся играть на бирже. А домовый Непетухин, вылупив-

шлись из скорлупы и приобретаея бороду, за пятерки писал на Арбате портреты проходящих мимо красавиц.

«Ох, бедовые! Ох, бедовые! — думал о них Шеврикука. — То дремали в оцепенении, а теперь ишь как раззадорились! А в подъездах дела запустят...» Впрочем, они запустили и без демонстраций, бирж и Арбатов, ему-то что. Да и стиль нынче в городе был такой, что его, Шеврикуки, опрятность могла показаться порочной или корыстной.

Сам Шеврикука транспарантов и знамен не носил, в уличной толпе был свой, ничем ее не раздражал и не давал поводов завидовать ему. Он производил впечатление мастерового лет тридцати двух — тридцати семи. Может, столяра хорошей руки, может, краснодеревщика, может, дамского портного, может, бутафора из Малого театра, может, лекальщика с самолетного завода. Видно было, что работы он исполняет достойно, а коллеги и заказчики его уважают. Бить такого не было причин. Да и задирать не возникало желаниа. Хотя по первому взгляду могло показаться, что он простак и объегорить его ничего не стоит. Уж больно он ходил румяным и добродушным. Но потом наблюдатель мог заметить, что не такой уж перед ним и простак, оди́нто, левый, глаз Шеврикуки (серый по цвету) был именно простодушно и удивленно открыт, но правый глаз (тоже серый) при этом шурился, пожалуй, иронично, и уголок рта под ним чуть кривился, вызывая мысли о скептическом умонастроении Шеврикуки. «ан нет, — являлось в голову наблюдателю. — Вовсе не простак!» К красавцам Шеврикуку отнести было никак нельзя, но кому-то открывалось в нем и нечто привлекательное. Шеврикука (ростом он был выше среднего), склонный к полноте, но пока не раздобревший, имел длинную шею любознательной личности, толстые уши, толстые губы и вполне заметный нос, притом как бы гнутый, с одного бока он казался толстым, в половину картофелины, с другого же его будто обтесывали стамеской, позволив потом коже лишь обтянуть кость. Над залысынами Шеврикуки и розовым лбом его торчал клок жестких русских волос, в пятидесятые годы, когда нравственные личности боролись с плесенью из коктейль-холлов, Шеврикука мог бы произвести его в стилижий кок. Но по нынешнему виду Шеврикуки выходило, что стилиж он наблюдал лишь грудным младенцем. Шеврикуке нравилось быть теперь именно тридцатипятилетним. Как-то в собрании домовых старик Иван Борисович запыхтел: «Что вы все головы морочите смутным временем! Смутной время, Смутное время! Переживали мы смутные времена, и не раз! А ту смуту помню. И Тушино, и самозванцев! И Шеврикука небось помнит». — «Нет, не помню, — резко сказал Шеврикука, обидев старика. — Я позже завелся». А ведь помнил, хотя и не был в Тушине. Много чего помнил Шеврикука. Но не хотел вспоминать...

А одежду он заказывал без претензий, самую ходовую, какую носили тихие москвичи его возраста и среднего достатка. Возможно, в душе он был франтом, но щеголять на улицах себе запрещал. Были

на то причины. И чрезвычайно опасался Шеврикука выглядеть смешным. Из тканей милей всего был ему бархат, особенно цветов Веронезе, однако времена бархата не наступили или вовсе истекли. Шеврикука не мог дать публице поводов для веселий, а потому вместо бархатов надевал свитера домашней вязки, джинсовые штаны и куртки, против них он и не возражал.

Таков был останкинский домовой Шеврикука в ветреные июньские дни. Многим, знавшим его, он казался тогда смирным, доброжелательным, несклонным бить стекла и зеркала, вот если только ворчун. Но кто в те ветреные дни не ворчал, не бранил порядки и их исполнителей? А Шеврикука лишь казался смирным и послушным. Он жил присмирившим и притихшим. На всякий случай. Чтобы ничего не проморгать и быть в готовности. Предчувствие волновало его: вот-вот начнется то, о чем он уже давно выстраивал предположения. Тогда и понадобится Шеврикука истинный...

2

Воскресные созерцания Шеврикуки были разрушены.

Если помните, Шеврикука спал мало. Но вот созерцать нечто в себе и в природе, совершать, закрыв веки, путешествия, разглядывать книги с просветительскими, но живыми картинками либо же читать сочинения, чувствительные или глубокомысленные, он был расположен. Тем более что времени у него хватало. При жильцах, а тем более при хозяевах приходилось бдеть, чуть ли не приговаривая в воодушевлении: «Рады стараться!» При квартиросъемщиках, да в двух подъездах, да на девяти этажах, ни о каких воодушевлениях речи не шло. Нет, порой Шеврикука и старался, но это когда он ощущал, что чья-то человеческая жизнь подлинно требует его опеки, тут уж он опять в силу воспитания становился незримым дядькой-опекуном при малых детях. А так он просто содержал подъезды в опрятности и ни в чьи житейские обстоятельства без нужды не вступал.

Поутру в воскресенье Шеврикука хотел откусать в чашках Лосино-Острова брусничного листа. Но передумал. Забрел в квартиру пенсионеров Уткиных, отбывших на дачу, и, съевшись там, улегся в кратере малахитовой вазы. В вазу ничего никогда не клали из почтения к камню и Даниле-мастеру, в ней сейчас было чисто, прохладно, и Шеврикука созерцал. И вдруг почувствовал, что в его владениях происходят безобразия. Или вот-вот произойдут. Так, услышал, что в соседнем, его, подъезде отключили воду. Что-то затевалось на четвертом этаже в квартире (№ 468) стервцов Радлуговых. Супруги Радлугины работали в сберегательной кассе, она — контролером, он чинил аппараты и любезничал с кассиршами. Радлугин, в пору, когда досто-славный Егор двинулся в поход за очищение народных генов от вли-того в них алкоголя, уловил возможность скорой карьеры и наградил

себя изобретенным титулом — Старший по подъезду. Он принялся сражаться с бытовым пьянством, врывается в частную жизнь, корил неразумных, просвещал их насчет мирового заговора, рассылал филиппики по местам их работ, а предположив в квартирах винокуренное производство, вызывал милиционеров с собаками, не переносящими самогон на дух. Шеврикука обиделся, в наглом и корыстном самозванстве углядел покушение на свои полномочия, приманив как-то Радлугина запахом яблочной косорыловки, дверью прищемил тому нос. Недели три волонтер великой войны с порчей генов ходил с бинтами на роже. И теперь у Шеврикуки не было к Радлугиным симпатии, и пусть бы у них все ломалось и дергалось. Но Шеврикука явно ощущал присутствие чужой силы. Или хотя бы чужого усилия. Никакие местные полтергейсты в подъездах Шеврикуки не развлекались, они знали его нрав и знали, что он может показать им барабашкину мать. Шеврикука вздохнул, потянулся и незримо перенесся в соседний подъезд.

Два сантехника волокли к Радлугиным розовый унитаз. Это в воскресный-то день. И сантехники были не дэзовские, чьи труды, конечно, требовали надзора Шеврикуки, но относились к числу положенных. Нет, волокли унитаз чужие. Один из них был кучерявый белесый малый в тельняшке с клипсой на ухе и сигаретой в зубах. Второй — крепыш лет сорока пяти, заметно, что бритый наголо, и, возможно, потому в кепке — казался личностью наглой и решительной. «Савинков какой-то», — пришло в голову Шеврикуке. А в малом с клипсой на повороте открылось и нечто знакомое. «Да это же Продольный! — поразился Шеврикука. — Завился подлец и тельняшку надел!» Продольный был домовый как раз из лимитчиков, подъезды его размещались в Землескребе в самом конце, у Аргуновской улицы.

— Эй, стойте! — кричал Шеврикука. — И вон отсюда!

— Это что? — спросил Продольного бритый крепыш. — Кто это шумит? Пресечь?

Шеврикука спохватился, возник из воздуха:

— Я вас сейчас так пресеку! Продольный, ты меня знаешь!

— Ты же не здесь, — растерялся Продольный. — Ты же сейчас в Лосином Острове...

— Я здесь. И в Лосином Острове, — сказал Шеврикука. — Это кто с тобой?

— Это дядя, — заспешил Продольный. — Дядя это. Мой. Из Липецка. Да? Ведь дядя?

— Дядя. Дядя, — хмуро подтвердил бритоголовый. — Успокойся.

— Что это ты тельняшку-то надел? — не удержавшись, задал лишний и бестактный вопрос Шеврикука. — По какому праву? Ты из десантников, что ли, или из морской пехоты?

— Это вас не касается, — грубо сказал названный дядя.

— Меня здесь все касается! — грозно заверил его Шеврикука. — А сейчас я коснусь вас с унитазом!

С криком он ринулся к лжесантехникам, пятернями ухватил каждого из них за шиворот и потянул вниз, к распахнутому лестничному окну. Продольный был легок, сам норовил взлететь и упорхнуть, липецкий же дядя упирался, казался Шеврикуке стальным сейфом, набитым дорогими слитками, да еще и унитаза не желал выпустить из рук.

— Вон! — рычал Шеврикука.

— Тельник-то не рви! — завершал Продольный. — Чего пристал? Чего ты пристал к нам? Пожалеешь... Перепадет тебе! И привидению твоему... Твоей... Суке этой!..

— Ах ты, недопаханный! — вовсе рассвирепел Шеврикука. — Тельник надел! Да ты не из морской пехоты, а из морской капусты! Из заячьей!

Оба предпринимателя были доставлены Шеврикукой к окну, воздвигнуты им на подоконник, а потом и выдворены с ревом в останкинские воздушы из чужих владений. Продольный нырнул вниз рыбкой, а названный дядя опрокинулся на бок, как бы нехотя позволив себе, прищурившись, взглянуть в глаза Шеврикуке и, причмокнув, что-то посулить ему сквозь зубы. И в злом прищуре его было обещание уплатить по счету.

— Вещь-то выронили здесь ненужную! — Шеврикука подхватил оставшийся трофеем унитаз и вышвырнул его в окно.

Унитаз низвергался куда быстрее Продольного с дядей, способных, как выяснилось, совершать затяжные спуски с фигурами, Продольный изловчился поймать унитаз на лету, прижал его к груди и уже на асфальте прокричал что-то обидное Шеврикуке, и они с дядей, смешавшись с людьми, поспешили к Аргуновской улице.

— Что? Что? Где? — выскочил на шум сознательный гражданин Радлугин. — Унитаз жду. А тут звуки. Что? Где?

— Водку дают в разлив в шестьдесят втором магазине, — сказал Шеврикука и рассеялся в воздухе, оставив Радлугина в недоумении.

Сейчас же Шеврикука возобновил свободный ток воды по трубам подъезда и произвел следствие. И вот что открылось. Позавчера дама Радлугина обнаружила, что засоленный позавпрошлым летом в пятилитровой банке зеленый крыжовник прокис. На исторический случай — либо гражданской войны, либо всеобщего разгильдяйства, либо глумления рыночной экономики — Радлугиными много чего было закуплено, засушено, засолено, замариновано, завялено, заспиртовано и в инспекторские дни подлежало ревизии. Прокисший крыжовник дама Радлугина решила наказать плаванием в туалетной воде. Только она приступила к делу, как банка выскользнула из ее рук и расколола унитаз. В ДЭЗе, хотя там скандалиста Радлугина и боялись, обещали установить беспорочный унитаз лишь через неделю. И то, скорее всего, из списанных. И тут вчера Радлугиной во дворе случайно повстречались два сантехника. От усталости они валились с ног и чуть ли не уткнулись в Радлугину своими ключами и фибровыми чехлами.

Слово за слово, «Братцы, спасите!», и договорились, что завтра же утром Радугиным будет установлен новый унитаз, и не какой-нибудь, а розовый с зелеными крапинами. «Из резервов...» Определили и цену — полсотни.

Уже одна эта история была криминалом и давала повод Шеврикуке писать докладную записку. Но Шеврикука, заново и со вниманием исследовав происшествие, нырнул в подполье очевидного и выяснил, что Продольный недели две готовил предприятие с розовым унитазом. Где они с так называемым дядей его сперли, было уже неважно. Так вот. Продольный, без тельняшки и без клипсы, а в виде городского комара, ребенка асфальтовых мокрот, внедрил в квартиру чужого подъезда и попискивал над ухом Радугиной. При его-то попискиваниях и прокис крыжовник, стал плесневеть, и Радугиной внутренний голос подсказал утопить ягоду. А когда банка зависла над унитазом, Продольный укусил Радугину в белую шею. Сделку же во дворе устроить было пустяком.

Шеврикука никак не мог успокоиться, и оттого течение мыслей в нем было рваное. «Неужели они из-за полсотни? — недоумевал он. — Из-за полсотни!» Домовые, в особенности в последние годы, подзарабатывали, порой и самым удивительным образом, на карманные расходы, на деликатесы, не предусмотренные распорядком жизни, на средства самообразования, да мало ли на что, хотя бы и на желтого попугая! Заработки эти не поощрялись, их бранили, называли безвкусицей, позорящей честь сословия, иных шабашников и наказывали, приравнивая их чуть ли не к валютчикам, но скорее из-за стараний не потерять лицо. Каким карманам мешает валюта? При этом либеральными умами приработки признавались делом вынужденным, вызванным столетними ущемлениями прав домовых... Но это все болтовня, фикус с ней! Да пусть бы и промышлял Продольный с липовым дядей, пусть бы и подсовывал дуракам ворованный унитаз, его дело, но как он посмел, нарушив неколебимое, объявиться со своей затеей на его, Шеврикуки, заповедной территории? Неужели всякие Продольные и уважать его перестали?

Продольные ладно. Продольные могли по глупости. Или из-за утраты существенных понятий. С Продольным он разберется. Но ведь Продольный был способен и уловить нечто в атмосфере. Почувствовать неуважение к Шеврикуке тех, на кого он, Продольный, и ровня ему взирали снизу, верхнюю губу приоткрыв. А потому и позволить себе дерзость: намекнуть на увлечения Шеврикуки и даже пригрозить не только ему самому, но и якобы любезному Шеврикуке привидению. За это и за оскорбление барышни, пусть и небезупречной, будут пересчитаны все белые и синие полосы тельняшки прохиндея!

Но явление бритоголового, перед которым Продольный явно лебезил, должно было озадачить Шеврикуку. Не специальный ли этот дядя? И не специальный ли унитаз был вставлен в сюжет происшеств-

вия? И не нарочно ли унитаза назначили именно Радлугину? Вспомнилось Шеврикуке обстоятельство шестилетней давности и прежде не разъясненной. Когда Радлугин сначала назначил себя Старшим по подъезду, а потом и уговорил четырех несмирных ветеранов, единственно явившихся на собрание представлять население, избрать его Старшим («Да что Старшим! Верховным по подъезду!»), он в сражениях под знаменами неутомимого Егора одержал немало побед. В частности, вынудил пожилого чиновника Фруктова с шестого этажа произвести от страха и унижений расчеты с жизнью. Фруктов был тихий добряк, чиновник — совершенный, от движений бровей начальства взмокал на службе в усердиях. Но в общество трезвости вступать отказался. Ревнитель Радлугин с десятком писем отправил куда надо, с приложением фотографий, на них — стаканы, рюмки, сосуды и рядом Фруктов в разных видах и разных степенях веселия или тоски. Коли б не кампания, Фруктова бы мирно пожурили. И коли бы пришла одна бумага, ее бы куда-нибудь засунули. Или разорвали. А тут их десяток, и автор — зверь. И был дан Фруктову разговор со швырянием фотографий на стол, после чего робкий чиновник наелся таблеток и не проснулся. В прощальном письме Фруктов укорял Радлугина, чего он, мол, так осерчал на него, и ставил под сомнение фотографии. Пил он один, перед ужином для поднятия аппетита, и не чертики же его снимали, до чертиков он не напивался. Вопрос о чертиках не стали обсуждать, за Радлугиним стояла государственная правда. И вот теперь Шеврикуке пришлось в голову: чертики чертиками, а не какой-нибудь невидимый Продольный обслуживал тогда Радлугина фотографом? И это в его, Шеврикуки, суверенном подъезде!

«Ее еще и сукой обозвал! — вновь вскипел Шеврикука. — А кто же я, интересно, в его мнении? И откуда он узнал про привидения, кудряш этот с клипсой? Или намеренно поставили его в известность? Затевают что-нибудь? А ведь могут, могут затевать!» Шеврикука был сердит, раздосадован, необычайные, гневные речи произносил, чуть ли не с угрозами, понятно, не вслух. Но следовало ругать и себя. Он-то хорош! Он ведь сам допустил беспорядок, впал в благодушие, глаза и уши заклеил, на что же он рассчитывает в грядущих событиях, если так распустил и разнежил себя?

Утро было испорчено, и день прошел в суете. «Непорядок! Непорядок!» — твердил себе Шеврикука, исследуя все подробности обоих подъездов, полы на лестницах и стены готов был мыть, сдувать пылинки, хотя и находил помещения чистыми, не знал пощады в отношениях с комарьем и мухами, крушил забредших из чужих пределов клопов, тараканов, мокриц, мучных жуков, не давая им надежд на помилование или амнистию, и даже стянул, склеил трещины радлугинского унитаза, увы, Радлугины были съемщиками в его подъезде. Хотя им и стоило подвесить ванну к потолку.

Суемой своей, пусть и мелкой, Шеврикука приводил себя в служебное состояние, необходимое для нынешних деловых посиделок. В восемь вечера Шеврикука был намерен явиться на толковище домовых в музыкальную школу. Посиделки могли оказаться нынче нервными.

3

Уже не нахал Продольный с дядей волновали Шеврикуку. Разбор истории с ними (хотя докладную, следуя правилам дисциплинарного канона, Шеврикука и написал) был отложен. Нет, он думал об ином. Храбрился, охлаждал себя, но уже не мог сидеть на месте и в семь вышел из дома. Быстро зашагал по улице Кондратюка, будто ему было необходимо ехать куда-то метрополитеном. На исходе Кондратюка он столкнулся с домовым Петром Арсеньевичем.

Хотел было проскочить дальше, ан нет.

— Здравствуйте, любезный Шеврикука, — раскланялся Петр Арсеньевич.

— Добрый день, — вынужден был остановиться Шеврикука.

— Разве вы не туда? — удивился Петр Арсеньевич.

— Я?.. Отчего же, и туда... Но ведь рано. А потом и туда. То есть... Я...

— Так пойдемте вместе, — предложил Петр Арсеньевич. — Не спеша.

— Ну да, ну да, — буркнул Шеврикука.

Петр Арсеньевич, домовый из углового строения на Кондратюка, был церемонным мухомором, отвязаться от него Шеврикука вряд ли бы смог. Люди дали бы Петру Арсеньевичу лет семьдесят с накатом, на улицы при публике он выползал с тростью, инкрустированной перламутром, летом носил чесучовые брюки и чесучовую же куртку, был почти лыс, имел седые усы и бородку клинышком, делавшую его отчасти похожим на умильного дедушку, пребывавшего некогда всесоюзным старостой. Впрочем, Петр Арсеньевич относился к тому дедушке дурно. В Останкине Петр Арсеньевич считался домовым несущественным, когда случались посиделки, ему полагалось присутствовать лишь в прихожей. Что уж говорить про Совещания?

— Отчего это посиделки, — принялся размышлять Петр Арсеньевич, — стали устраивать в выходные дни?

— Телевизоров насмотрелись, — сказал Шеврикука.

— Ах, да, да, — закивал Петр Арсеньевич. — Видимо, так. А вот... — тут же он замолчал, отважиться долго не мог и все же произнес: — А что вы, любезный, слышали про сокращения?

— Какие сокращения? — спросил Шеврикука.

— Ну, не сокращения... Ну, может, перетасовки... Или как по-нашему?.. Повсюду ведь перетасовывают... Опять же по телевизору...

— Не знаю. Не слышал, — сказал Шеврикука.

Он знал. Он слышал. Но не захотел огорчать старика.

— Ну да, — вздохнул Петр Арсеньевич. — Это вас не коснется. Вы фигура заметная. И живая. Не то что мы, древние развалины.

— Не скромничайте, Петр Арсеньевич, — сказал на всякий случай Шеврикука. — И не нагоняйте на себя страхи... заранее...

— А вот... Поговаривают... — сказал Петр Арсеньевич. — Эти... отродья... — и тростью было указано на Останкинскую башню, — в поход будто на нас хотят пойти... Войну, говорят, желают начать... Тогда, может, будет не до сокращений, не до перетасовок этих?.. А?

— Да неужели вы, Петр Арсеньевич, — поморщился Шеврикука, — не успели привыкнуть к войнам или к перетасовкам?

— Ах, да, да! — мелко рассмеялся вдруг Петр Арсеньевич, будто Шеврикука изволил отменить поводы его волнений. — Вы правы, вы правы... Однако, согласитесь, случай здесь особенный. Чаше мы оказывались при чьих-то чужих войнах, а тут намерены пойти походом именно на нас. Готовы ли мы к такому повороту дел?

— Зачем мы нужны-то им? — спросил Шеврикука. — На кой им этот поход?

— Кабы я знал... Но ведь поговаривают... И чувствуется напряжение энергий, — сказал Петр Арсеньевич. — Может, раздражаем мы их... Может, они от гордыни... Молоденькие, свежие, теплые, пар от них идет, и вот все ломать хочется... Мол, мы одни правы и одни могучи, а все остальные закоснели и идиоты... И положение их требует драки.

— Какое такое положение?

— А такое, — охотно принялся разъяснять Петр Арсеньевич. — Они-то ведь завелись не спросясь. Мы, положим, завелись тоже не спросясь. Дух хлеба, дух очага, дух, простите, шей, или что там варилось до шей. Но ведь когда это было? И уже когда мы признаны, уставлены, вошли во все ведомости и протоколы, живем именно узаконенными, никому не мешаем и соблюдаем приличия. А они?

— Что они?

— Вот то-то! Что они! Они-то сами толком не ведают, кто они такие и зачем. Их распирает, дрожжи гонят их вширь и ввысь, они не знают пока, в чем останутся и какие формы им суждено принять. И при этом они незаконнорожденные. Каково им успокоиться-то? И каково усмирить свое высокомерие? — Тут Петр Арсеньевич замолчал, возможно, ему показалось, что он излишне горячится и шумит, а вокруг — любознательные. — Но это я все так, с чужих слов. Я-то никого из них и не видел. Вы хоть что знаете о них? Видели кого? Или, может, даже знакомы с кем?

— Ничего не знаю. Я ими не интересуюсь, — соврал Шеврикука. — И тем более ни с кем не знаком.

— Ну конечно, ну правильно, — закивал Петр Арсеньевич. — Но стойте, куда же вы несетесь, я не поспею за вами, ноги у меня дряхлые, не ваши ведь... Да... И Чаши Грааля на Башне нет...

— Чаши Грааля? — Шеврикука остановился, перед тем в воздух чуть не взлетев.

— Чем я вас так напугал? — остановился и Петр Арсеньевич.

— Нет. Я так... оступился... Но какая тут еще Чаша Грааля?

— Чаша Грааля. Меч-Кладенец. Кольца Альманзора. Сокровища Полуботка. Что там еще? — сказал Петр Арсеньевич. — Простите, что я так высокопарно говорю. Но у них этого нет.

— А у нас есть?

— Любезный Шеврикука, — с укором улыбнулся Петр Арсеньевич. — А вы будто не знаете.

— Нет, я, конечно, слышал... легенды, песни, шуршание всякое... — смутился Шеврикука, он никак не мог прекратить валять дурака, от всех ожидал нынче подвоха, отношения с Петром Арсеньевичем были у него, как у пса с кустом барбариса, знал, что осыпается такой на углу улицы Кондратюка, и все, что он теперь-то пристал к нему, или — одинок и не с кем поговорить? А кто не одинок? Но вдруг Петр Арсеньевич и впрямь рыл ему яму или испытывал его... Шеврикука сказал: — А я это шуршание в голове не держу. Какой толк? Может, когда-то что-то и было у нас, но сейчас оно наверняка либо истлело, либо затупилось, либо обратилось в глину. Присутствие его полагалось бы чувствовать, а не чувствуется. Извольте. Прокладки в моих подъездах стираются чуть ли не каждый день.

И сам остался недоволен сказанным.

— Я вас понял... Извините, пожалуйста, что навязывался в собеседники, — Петр Арсеньевич потух, тростью тыкал в асфальт, будто ослеп. — Единственно скажу напоследок. Полагаю все же: оно, то, что было, и теперь не шуршание и не привидение. Напротив... Надеюсь на это.

Шеврикука резко взглянул на Петра Арсеньевича.

— Опять же извините, — грустно сказал Петр Арсеньевич. — Я говорил про свое, несколько не имеющее к вам отношения.

Дальше они шли молча.

Детская музыкальная школа стояла прямо возле Землескреба. Прогулку Шеврикука совершил, но успокоиться ему не было дано. Метрах в ста от школы Шеврикука с Петром Арсеньевичем растворились в воздухе и возобновились личностями на втором этаже учебного заведения. Прежде, когда Останкино лишь переходило из полудачного состояния в городское, местные домовые собирались на Аргуновской улице в деревянном доме с башенкой. На первом этаже там были почта и сберегательная касса, на втором — жилишно-эксплуатационная контора. Ночью в помещениях конторы и сходились. А где же, полагали, еще? Но тот дом с башенкой снесли, а ЖЭКи, бывшие домоуправления, усовершенствовались, наградив их притом собачьими кличками — ДЭЗы и РЭУ. Ночью при ДЭЗах и РЭУ собираться отказались, иные робко, иные революционно, — неужели они проходят по ведомству эксплуатации жилья? (Раньше-то проходили и на каждое

«цыц!» лапками дрыгать переставали.) Переругавшись, утихомирились с соблюдением достоинств и гражданских позиций и согласились собираться в детских музыкальных классах. Уж как бы при культуре. Тут, кроме классов, имелись и вестибюли, и учительские, и туалеты, и подоконники, и даже малый концертный зал. И потихоньку привыкли к тому, что именно здесь проходили теперь и ночные общения, и заседания клуба, и творческие отчеты домовых, и судилища, и деловые посиделки, и даже кутежи. Ревнители нравов поначалу протестовали: «Дети и кутежи — несовместимо!» — вынуждая желающих предаваться весельям в диетической столовой при ресторане «Звездный». Но в «Звездный» и по ночам забредали подгулявшие мужики и бабы, грубили домовым, и те решили, что покой и безопасность они обретут лишь в музыкальной школе. Но когда объявлялись деловые посиделки, все иные встречи по интересам с ними совмещаться не могли. Хотя посиделки и были простым толковищем, стенограммы на них не велись и резолюции не принимались.

В прихожей перед учительской домовых сидело уже много. И Петр Арсеньевич тихо опустился на скамейку подальше от важной нынче двери. Знал свое место. До толковища оставалось семь минут, и Шеврикука подошел к окну, будто нечто чрезвычайное должен был рассмотреть сейчас на проезжей части. Сам же оглядывал запасных. Или резервистов. Сидели они скромные, почти безгласные, но с пониманием предназначенного им на лицах. Хотя из резервистов их никуда и не переводили, им доверялось лишь соблюдение традиций и церемониала. «Ба! — Рот открыл Шеврикука. — Да здесь же Продольный!» Как ни мала была роль сидельца в прихожей, но Продольный и до нее не дорос. Присутствие его при толковище было безобразием, и Шеврикука двинулся было к Продольному с намерением указать наглещу, что он оскорбительно лишний, но тут возник привратник и глашатай (им был нынче домовый с Аргуновской улицы Дурнев, он же Колюня-Убогий) и объявил: «Действительных членов просим в зал». Шеврикука как бы нехотя повернул к двери, но Колюня-Убогий его придержал и сказал: «Вас не велено. В списке нет. Вас не велено...» «Чего? Меня нет?» — Шеврикука не взревел, не зарычал, а произнес это шепотом, но зловещим, какой полагалось бы услышать и в дальних выселках — в Солнцево и в Бутово. Колюня-Убогий егозил, видно было, что страшился Шеврикуку, и слова, испуганные, смущенные, выползали из него: «Не велено... В списке нету... А я что? Кто я?.. Я не сам... Я сегодня здесь по расписанию...» «Да ты что! Я действительный член! А ну позволь!» — оттолкнул привратника Шеврикука и шагнул в зал, но движением руки распорядителя, домового Тродескантова, был остановлен. Услышал поразительное: «Вам сегодня определено место в прихожей». И сразу же понял, что остановлен не жестом Тродескантова, а колющим, властным взглядом неизвестного доселе на посиделках персонажа. Персонаж этот был бойцовского вида тяжеловес в темно-синей шелковой поддевке с косым воротником, подпоясанной кру-

тым, витым шнуром, бритый наголо, утром представленный Шеврикуке липецким дядей подлеца Продольного. «Шея-то какая! И затылок, — пришло в голову Шеврикуке. — Это уж и не Савинков, а считай Котовский!» И стало ясно, что утром тот прикидывался дядей, может, дурачась, но, может, и унижая себя, а кепчонку надевал маскарадную. «Я протестую! — теперь уже заревел Шеврикука. — Я действительный член!» Тродескантов в сомнении отправился было к домовым, стоявшим возле гостя (или как его называть?), но губы того скривились, и Тродескантов послушно заявил Шеврикуке: «Место вам сегодня определено в прихожей!»

Ошеломленный Шеврикука опустил на презренную скамейку сидельцев в прихожей. Ему тут же бы покинуть паскудное собрание, но уйти отсюда до исхода посиделок он не имел права. Да что не имел! И ушел бы! Однако — и сам стыдился признаться себе в этом — он еще надеялся, что сейчас дверь распахнется, перед ним сотворят поклон и призовут на совет. Дверь и впрямь отворилась, распорядитель Тродескантов что-то шепнул привратнику-глашатаю, и Колюня-Убогий, будто сам себе не веря, объявил: «Полного сбора нет. В зал приглашается Петр Арсеньевич, улица Кондратюка, дом номер два». Петр Арсеньевич поднялся, но, похоже, тут же должен был рухнуть в обморок, его подхватили под руки соседи и почтительно повлекли к недоступной им двери. Так уж и недоступной? Вот тишайший Петр Арсеньевич лета кротко сидел в прихожей, ни на что не претендуя, уж тем будучи доволен, что зовут из года в год, и нате вам! — чудесный поворот в судьбе.

Но каково было Шеврикуке! Эко его провели мордой по булыжной мостовой! Экое позорище ему учинили! Сколько сидело вокруг свидетелей его срама, замолкнув в испуге и удивлении! Поглядывали они на него, кто с любопытством, кто с состраданием, а больше-то небось ехидничая и торжествуя. И в зале при лучинах (пусть и в светлый вечер, но непременно, как дань преданию) наверняка думали теперь о нем, Шеврикуке. Думать думали, но говорили об ином.

То ледяная дрожь была Шеврикуку, то лава кипела в нем, требуя выплеска. Подходил привратник и глашатай Дурнев с колокольцем в руке. Колюня-Убогий, тварь жалкая, останкинское посмешище, юродивый, шут дрожащий, готовый перед любым, кто покрепче, лебезить и с бубном мелко попрыгивать, слюну изо рта пуская! Он и теперь, на всякий случай впереди, побитого хотел задобрить, бормотал виновато, склонившись над Шеврикукой, себе в оправдание: «Я ведь что... Я-то самый поганенький. Но ведь расписание. Вот по расписанию нынче я с колокольцем. А ты гневаешься на меня. И в обиде. И на наших. Они-то, может, и пустили бы тебя. Хотя иные и опасаются озорства... Но пустили бы... А этот строг. Который с полномочиями-то... Любохват... Оттуда (и пальцем — указ на Китай-город)... Строг он и громок... А я что?» «Сгинь!» — цыкнул на привратника Шеврикука. Доси-

дел до прощального звона колокольца и в мгновение, позволявшее уйти с посиделок, ушел, ни на кого не взглянув.

Ринулся куда-то в синих, сухих сумерках, а куда — и сам не знал. Но не домой. «Все! — говорил он себе. — Час пробил!»

— Шеврикука! — окликнули его уже на Цандера.

Шеврикука обернулся. Сзади шагал церемонный мухомор Петр Арсеньевич. «Как настигла меня эта развалина? — удивился Шеврикука. — И тоже, что ли, примется сейчас оправдываться? Увольте!»

— Жизнь есть жизнь, — сказал Петр Арсеньевич. — Истолковывать что-либо нет нужды... Но коли вдруг возникают соображения о пробитом часе или о том, что Рубикон можно и не переплыть, а перешагнуть, не всегда следует спешить. Или быть сгоряча опрометчивым...

— Я не могу с вами вести разговор на равных, — бросил Шеврикука.

— А я, может, и не вам говорю, а себе... И себе же замечу, что дела у нас с Отродьем этим, с духами Башни, выйдут серьезные. Увы, слишком серьезные. И в скором времени... Да... А вслух я бормочу опять же по старости, оттого что все во мне спотыкается и тяготится существованием... Пребывайте в здравии...

Петр Арсеньевич поскрипел к себе на Кондратюка.

4

«Ну нет! Все! — повторял Шеврикука уже дома. — Час пробил! Они еще спохватятся, они еще приползут с горючими словами... Но все! Час пробил! Рубикон...» Какой еще Рубикон, сейчас же взмучился Шеврикука, этот мухомор и свежий выдвигенец Петр Арсеньевич одарил его Рубиконом, и истребить память о нем не было у Шеврикуки хлорофоса. Или нафталина. «Рубикон! Чаша Грааля!» — не при лицейских ли кафельных печах обитал в свои золоченые дни Петр Арсеньевич, и ныне обласканный? Летел, что ли, он за ним, Шеврикукой, вчера, чтобы бормотать вслух? Хоть бы и летел, пусть его намеки и подсказки и останутся при нем, а он, Шеврикука, будет жить и сгоряча, и опрометчиво. И не испугает его надзирающий взгляд уполномоченного в шелковой поддевке, бывшего липецкого дяди, бывшего сантехника, умыкнувшего унитаза, напротив, лишь подтолкнет его к крайностям и полетам. Но найдет ли управу Шеврикуке этот так называемый Любохват? Шеврикука относил себя к сведущим, умел слушать и в расспрашивать и что-то не помнил никакого Любохвата. Нигде такой прежде не проходил. Возможно, был вызван или поднят из сургучовых недр и прозвище, сладкое, как тульская коврига, получил во временное пользование. Его дело. Шеврикуке все одно — дядя он или уполномоченный Любохват!

Так храбрился, хорохорился в обиде и гордыне Шеврикука, задирая себя и своих недругов, находящихся, впрочем, в отдалении. Сам же, утвердив себя в малахитовой вазе, принимал в расчет неловкость своего положения. Пробил уже не час, а по крайней мере двадцать один час с той секунды, когда решение было им бесповоротно принято. Но сразу, посчитав Шеврикука, нестись и вздыматься на Башню было бы некрасиво. Понятия «красиво» и «некрасиво» были чрезвычайно важны для Шеврикуки и сберегались в его алмазном фонде. К тому же нестись сразу было не только некрасиво. Возникли бы и подозрения... Но это все были отговорки. Шеврикука ощутил, что соваться на Башню робеет. Не то чтобы робеет (хотя и робеет), но находится в смущении оттого, что не знает, как и с чем на Башню являться в его нынешнем случае. Сто раз полагал, что рано или поздно ворвется туда, но разрабатывать практический план действий брезговал в уверенности, что все и так выйдет прекрасно и само собой. То есть получалось, что в нем жило лишь одно упование или даже греза, а холодной готовности не было никакой. Что же, теперь ему вприорхнуть туда и обрадовать неизвестно кого: «Здравствуйте, это я, Шеврикука!»

Впрочем, один вариант явления Шеврикука в голове держал. Но сегодня он никак не подходил. И опытом удальцов последних лет, иных из них Шеврикука знал, воспользоваться он не мог. А уже утекали на Башню домовые. И пропадали там. Не возникало от них ни слуху ни духу. Ни строчки, даже и зашифрованной. Их называли предателями, перебежчиками, расстригами. Исчезли осенью два идеально послушных домовых. Чтобы в головах, подверженных соблазнам, не вспалились смута и ложные порывы, было разъяснено, что этих двух идеальных Отродья с Башни, растоптавшие всякие понятия о чести, выкрали для проведения страшных опытов. А потому предлагалось бдеть и блюсти себя. Обещали также усилить средства защиты и покрасить пограничные столбы. Каким образом утекали на Башню останкинские расстриги (хотя кто и когда подвергался здесь пострижению?), Шеврикука имел представление, но пробираться их тропинками не желал.

«А! Будь что будет! — решил Шеврикука. — Что сидеть-то здесь и робеть! И воробыного птенца не высидишь!» Крепкой оставалась в нем досада, да и температура поднялась отчаянная, сбить какую можно было лишь либо действием, либо снадобьем, но от него пришлось бы впасть в спячку сроком на семь месяцев. Уже уносясь к Башне, Шеврикука нашел в себе трезвые мысли и, как требовалось, отослал воздушной почтой докладную записку о противоправных действиях домового Продольного и его соучастника, назвавшегося дядей. Приметы прилагались.

Разгон Шеврикуки был таков, что он, невидимый, чуть ли не ударился в одну из бетонных ног Башни, придуманных инженером Никитиным. Протекала темно-синяя июньская ночь, а на Башне копошились труженики, двери двигались, и Шеврикука, не впадая в разду-

мя, способные отвлечь, влетел в одну из продувных щелей. А дальше что? Тут тебе не музыкальная школа, в часы отдохновения пустая, тут — телевидение, да еще и кабак в небесах с интересом к иностранцам, отсюда люди не уходят, они мешают здесь и в собачьи, и в волчьи, и в петушинные часы, где же следует искать истинных хозяев Башни? Или — где ему необходимо оказаться, чтобы истинные хозяева эти его, Шеврикуку, учуяли, обнаружили и приняли во внимание?

Что и как внутри Башни, было Шеврикукой изучено зимой и весной. Да и во многих коридорах, буфетах, аппаратных, студиях, залах и даже туалетах Шеврикука побывал тогда исследователем, набросал и чертежи для лучшего воздействия на память (и сразу их сжег). Надеялся он и на свой нюх, на подсказки своей натуры, много чего испытывавшей. Он предполагал, где могли бы оказаться гнезда отродий (сейчас он и в мыслях не называл хозяев Башни Отродьями — вдруг мысли его читают), в тех местах и курсировал. Потом подумал: а что, если его, невидимого, никто или ничто не почувствует, не засечет, ни на одном экране его силуэт не засветится? Моментально принял вид жителя останкинских улиц и проездов, стал передвигаться по коридорам деловито, будто отбывал ночную смену. Выглядел он необходимым работником, в одном месте ему доверили отнести бухту кабеля («Кому?» — спросил Шеврикука. — «Как — кому? — удивились. — Или не помнишь? Пашке, едрена вошь!»), в другом — отругали за неповоротливость, вручили электрический полотер и велели пройти с ним коридор от огнетушителя до мужского туалета. Всюду спрашивали, нет ли сигарет, и это при требованиях. «Не курить!». Натирал паркет Шеврикука со старанием, увлекся, но никто к нему не являлся ни от людей, ни от духов. Но только он прислонил полотер к стене, как его взяли под белые руки и повлекли ввысь.

Кто его волок, возносил в черной пустоте рядом с трубой для поднебесных лифтов, Шеврикука понять не мог. Похоже, существ легких, возможно, пушистых была стая, они суетились, толкались, верещали, шелестели, перекрикивались целлулоидными кукольными голосами из детских радиопередач, будто ускоренным движением пленки, и обидно для Шеврикуки щипались. «Что вы щиплетесь-то! — не выдержал Шеврикука. — Сдурели, что ли!» Он локтями повел, норовя кого-нибудь из воспарителей в назидание садануть, но те заверещали громче, засмеялись, явно радуясь неприятностям Шеврикуки. «Ах! Ах! Ах! А он недотрога! Недотрога! А он, оказывается, цветок жасмин! Ах, давайте, давайте, его совсем не будем касаться! Ах, давайте его выпустим!» — «Выпустим! Выпустим! Выпустим!» Сразу же началось свободное падение Шеврикуки, приостановить его он не мог, закричал в испуге: «Эй, вы! Хватайте меня. Вам же велели меня доставить!» Шеврикука был согласен теперь и на шипки, и на шекотания. «Разрешил! Разрешил! Бесценный-то наш, ненаглядный-то наш! Барин наш ласковый! Разрешил! Хватайте его! Хватайте! Несите!»

И Шеврикука со свистом и смехом был изловлен, раскручен и брошен в дикое помещение, ударился о стену, впрочем, не больно.

Зажегся фонарь в чьей-то руке или лапе, луч его бил в глаза Шеврикуке. «Садитесь! — услышал Шеврикука. — Выкладывайте сразу, зачем пришли». «Я, что ли? — спросил Шеврикука, устраиваясь на полу, на матом матрасе, возможно, на татами. — А ни за чем. Просто так пришел. Прогуляться. Познакомиться». — «Ну и представляйтесь. Как вас именуют?» — «А никак, — сказал Шеврикука. — Пока никак. Да и не вижу я никого, кому бы следовало представляться. Не этой же шушере шелестящей». «Как он прав! Ведь как он прав!» — тотчас восторженно заторопились целлулоидные кукольные голоса, легкие, шелестящие спутники Шеврикуки стали подпрыгивать невдалеке. «Как справедливо подумало о нас ихнее сиятельство! Благоухающий наш! Нежнейший! Что же сидите-то вы так неловко? Эдак и нога затечет! И брюки примять можно! Надо поправить! Надо удостоить нежнейшего!» К Шеврикуке подлетели, схватили его и не руками, не лапами, а клешнями, крутанули, и не раз, потом, держа за ноги, шмякнули носом о стену. Стоять на голове прислоненным к стене и оставили Шеврикуку.

«Да отпустите его! — прозвучал недовольно, скрипуче голос взрослого. — Усадите. Не надоело ли вам дурачиться!» Шеврикуку усадили, «ах, конечно, конечно, мы же обидели ребенка», угостив его при этом жестким апперкотом. Фонарь погас, справа и слева включилась желтоватая подсветка, и метрах в пяти перед собой Шеврикука увидел небольшое (с чемодан ростом) существо, возможно, механического происхождения. Трехчастное. Верхняя и нижняя части его были в ширину равны, средняя — чуть уже. Сразу же Шеврикука предположил, что верхняя часть собеседника — это его голова, средняя — туловище, нижняя, понятно, — ноги. Ног собеседник имел три. Или это были три планки. Нет, решил Шеврикука, планки — плоские, а тут — объемы, словно бы ребра старого водяного радиатора. Или палки нунчаки. Уже ведя разговор, Шеврикука подумал, что три симметричные «ногам» подробности головы — возможно, два уха и нос. В отличие от ног уши и нос двигались, правда, строго по горизонтали, то раздвигая, то сжимая голову-гармонь и отражая, вероятно, вибрации чувств собеседника. «Интересно, а какие у него могут быть дети? — задумался вдруг Шеврикука. И сам себе удивился: — При чем тут дети?»

— Значит, — сказал гармонь-радиатор, — зовут вас никак. И кто вы — неизвестно.

— Известно! Известно! — из-под потолка, из черно-желтой мороки опять заторопились кукольные голоса. — Зовут его Шеврикука. Он домовой двухстолбовый, то есть о двух подъездах, здания № 14 по 5-й Ново-Останкинской улице, в простонародье Землескреб.

Шеврикука кивнул. Он не опечалился: если располагали сведениями, то, стало быть, это именно те, на кого и следовало выходить. Или, вернее, не сами те, а хотя бы щупальца тех.

— Да, располагаем. И выясняется, что вы нам неинтересны. А потому вас надо вернуть к полотеру. Если, конечно, в причинах вашего явления сюда нет чего-либо примечательного.

— Чего-либо нет, — хмуро сказал Шеврикука. — Но теперь я чувствую себя неучтивым. Вы знаете, кто я, я же не ведаю, как называть вас.

— О! Это ли теперь должно вас заботить? — Планки растянулись, собеседник то ли удивился, то ли рассмеялся. — Называйте хоть Риббентропом. Так зачем вы пришли? И с чем?

— Ни за чем. И ни с чем, — решительно сказал Шеврикука.

— Если вы полагаете, что вам предоставят более значительного собеседника, то вы ошибаетесь. Других собеседников у вас не будет. Вы стоите на своем?

— Стою, — сказал Шеврикука, впрочем, после некоего молчания.

— Да он же секретный агент! Он же замочную скважину ищет! И игольное ушко! — ожили сразу над Шеврикукой кукольные голоса, заверещали, завибрировали, расталкивали друг друга. — Секретный агент! А мы-то глаза занавесили! Ату его! Ату! На шампур его и в реактор! В печь термостойкую! Агента задрипанного!

— Цыц! А вы (уже Шеврикуке), означенный двухстолбовый, не правы. Пожалуй, я зря пообещал отправить вас к полотеру. Вы вспомните: кто-нибудь из домовых, ушедших к нам, вернулся в Останкино? Никто. Желаете себя сохранить — произнесите существенные слова. Хотя бы два слова. Времени у нас нет. У вас — тем более.

Как на японском мелком календаре, при смещении его, возникает новая картинка, так при резком движении собеседника Шеврикуке открылась вместо горизонталей гармони-радиатора (или сквозь них?) фигура, явно схожая с человечесьей, и синие глаза блеснули, однако тут же видение исчезло. «Что он хочет от меня? — думал Шеврикука. — Какие два слова ему произнести? «Чаша Грааля», что ли?»

Собеседник вздрогнул:

— Да, да! Хотя бы два слова!

— Нет у меня никаких слов, — сказал Шеврикука.

— Что же вы нам голову морочите! — воскликнул собеседник. — Что от дел отвлекаете! В порошок его, в сыпучий! Под зад коленом! В реактор, в режим распада! Под зад коленом! Триста плетей по обезвоженным местам!

Дальнейшее Шеврикука помнил плохо. Его опять подхватили, теперь уже с гиканьем и посвистом, крутили, трясли, пинали, то в пропасти швыряли, то винтом возносили в поднебесье, и все в Шеврикуке замирало, засовывали в недра жестяной бочки и били по ней кувалдами, потом втиснули в ржавую водопроводную трубу и сжатым воздухом погнали на восток. Здесь сознание Шеврикуки погасло.

5

Очнулся Шеврикука на берегу Останкинского пруда.

На черной воде в платной прогулочной лодке сидел водяной Марافетьев с удочкой в руке. «Часа два ночи», — сообразил Шеврикука.

Ночь стояла тихая, теплая, и люди на Поле Дураков и по тротуарам улицы академика Королева, пусть и редкие, шлялись. Водяной Марафетьев сидел в полосатых плавках спасателя, фетровой ковбойской шляпе и за спиной имел гитару. На всякий случай Шеврикука пожевал помахать водяному рукой, но сразу же понял, что Марафетьев его приветствия и не заметит. Он, Шеврикука, лежал глубоко в цветущих кустах шиповника. При попытке подняться застонал и принялся браниться. Все в нем болело. Все, но в некоторых местах боль была особенно ощутимой. Исследовав географию боли, Шеврикука пришел к выводу, что добросовестнее всего экзекуторы отнеслись к устному распоряжению: «Под зад коленом!»

Ковыляя домой, Шеврикука не раз оборачивался, грозил кулаком Башне и находил слова, каким позавидовали бы подсобные рабочие рыбных магазинов.

Потом клокотание в нем поутихло. «Кто-нибудь из домовых, ушедших к нам, вернулся в Останкино?» — вспомнилось Шеврикуке. А он возвращался. Понятно, они могли и лукавить, кто-то вдруг и вернулся, иное дело — как и в каком виде. А он, несомненно, возвращался. И возвращался Шеврикукой. И он почувствовал себя чуть ли не победителем. Видали, экий Шеврикука-то он!

Однако победные песнопения звучали в нем недолго, и с унылой рожей явилась мысль: ну и какие такие достижения в том, что он уцелел и возвращается? Накануне о возвращении он вовсе и не пекся. И выходило, что он проиграл. Он упустил шанс, который вряд ли еще представится. Его не приняли всерьез, не признали даже достойным темницы или измелчения в порошок, его отругнули за ненадобностью, не считаясь с приличиями и без боязни последствий. А если рассудить холодно, переведя себя в состояние студня из свиных ног с желатином, то следует признать, что более других виноват был он сам. Он ведь знал, куда рискнул проникнуть, готовился к капканам, унижениям и даже пыткам, роль себе сочинил и выстроил и вдруг — к собственному изумлению — повел себя гордецом, дерзил собеседникам. «А зачем они кривлялись? — начал оправдываться Шеврикука. — Кривлялись-то зачем?.. Голосами дурными верещали, щипались, вспоминали Риббентропа, балаган устраивали... Зачем?..» «Их право, — тут же ответил себе Шеврикука, — не они тебя приглашали, ты сам изволил их посетить». Отважившись двинуть в поход, был согласен на любого собеседника, да что согласен — мечтал о любом собеседнике, а заполучив его, надо полагать, что и не «любого», принялся ему хамить. И тогда еще терпение у них не иссякло. Хотя бы два слова существенных они желали от него услышать. Коли сам приволокся. И не услышали. Возможно, их устроили бы и «Чаша Граалья», а он и о ней не сказал. («Далась тебе эта «Чаша Граалья!») — опять удивился себе Шеврикука.) Дурак, он и есть дурак, добавить тут нечего. Ну, живой, ну, вернулся, а дальше что? Что дальше-то? Ведь он уже и в мыслях выкорчевал себя

из привычной жизни. К тому же как пребывать здесь, как служить после воскресных посиделок?

«А-а-а, — в отчаянии решил Шеврикука, — сяду-ка я на больничный. Выправлю-ка я больничный и отсижусь. И дядя, уполномоченный, фикс меня не достанет. А там посмотрим!»

Добывать больничные Шеврикука и при непоколебленных состояниях своей природы был умелец, теперь же и ловчить не стоило, а надо было лишь предъявить дежурному знахарю спину и задницу («сдувал пыль с лампочек, рухнул вместе с люстрой, сами знаете, какие выпускают, пусть и по конверсии») и удалиться от недоброжелателей в спасительное укрытие постельного режима. И Шеврикука немедленно посетил ночного знахаря. Дежурил тот в калеко-пункте на четвертой липе (если встать передом к Хованскому проезду) Поля Дураков, зевал в безделье. Бумагу выправил вмиг. Шеврикука получил снадобье для растирания («нынче туда добавлены шакальи выбросы, из Замбии, некоторые суют вовнутрь, но я бы не советовал»). В малахитовой вазе Шеврикука решил обдумать происшествие дня заново и всерьез, мысли по дороге от пруда и домой казались ему теперь неразумными, зыбкими, суетными. Но тут же ощутил сигнал: в его подъездах опять нарушалось благонравие. «Нет меня! — протестуя, в воздух, сделал заявление Шеврикука. — Я больной! На больничном! Болею болезнью!» Но шум опять происходил из окрестностей квартиры активиста Радлугина.

«Ну попадитесь мне сейчас подлец Продольный и уполномоченный дядя!» — возмечтал Шеврикука.

Однако и сам Радлугин, так и не вознагражденный ведомствами судьбы розовым унитазом, был встревожен и раздосадован не менее, нежели Шеврикука. Шумели над ним, в квартире кандидата наук Мельникова, и на ближних пролетах лестницы. Радлугин звонил в «Скороую», в милицию, к пожарным, машины приезжали — и белые, и желто-синие, и красные. Но и отбывали. Выяснив причины ночного праздника, лица, вызванные Старшим по подъезду, проявляли непростительное благодушие, никого не брали, не окатывали струей, никого не убеждали резиновыми доводами, а говорили: «Историческая неизбежность. Человечество прощается с прошлым. Пусть порезвятся напоследок. К шести разойдутся».

Уснуть супруги Радлугины не могли, в пижамах толклись у двери, приоткрытой на две цепочки, и время от времени обращались к народу с пронзительными призывами и назиданиями. «Не митингуйте, — отвечали им без злобы, но с усталостью и печалью. — Вот метро поедет, и мы уберемся». А стрелки подтянулись к трем.

Шеврикука в приличном виде ввинчивался в компании курящих вблизи квартиры Мельникова и скоро вызнал все обстоятельства. Вот что было. Упразднили Департамент Шмелей. Длиннее: Департамент, управлявший полетами шмелей. В бумагах название Департамента выглядело еще более протяженным. Дело к тому шло. Той самой исто-

рической неизбежностью, о которой справедливо напоминали Радлугину медики, милиционеры и пожарные, Департамент был поставлен в очередь. Теперь номер его выкликнули. Упразднили. Разогнали. Изничтожили. Компот сварили из чиновников, объявив, что накладно надзирать из первопрестольного населенного пункта над шмелями, да и противно это естеству природы, пусть перепончатокрылые летают, кушают, плодятся и совершенствуются сами по себе. Патриоты Департамента учинили прощальный бал. Гуляли в ресторане. Когда утихли, околев, ламбады и эскадроны мыслей шальных, решили продолжить. Кто где. Вспомнили, что талант, а может, и гений Митя Мельников, малахольный и великодушный, может многих вместить в своей холостяцкой квартире. К нему и бросились. И хорошо сидели. Теперь догуливали, курили, зевали. Впрочем, иные были еще резвые и неутоленные.

— Ба, и вы здесь! — Шеврикуку хлопнули по плечу.

— Я? — Шеврикука даже растерялся. — Да, я здесь... Здесь я...

Приветствовал его квартиросъемщик Сергей Андреевич Подмолотов, проживавший на втором этаже и хорошо Шеврикуке известный.

— Вы тоже, что ли, в нашем Департаменте работали? — обрадовался Подмолотов. — А я и не знал. Я сегодня со многими познакомился, с кем, оказывается, работал.

— Нет, — сказал Шеврикука. — Я здесь случайно. Я ведь тоже живу в этом доме. Возможно, мы с вами сталкивались во дворе, в магазинах, в очереди за квасом...

— И не только за квасом! — рассмеялся Подмолотов. — То-то я вижу — лицо знакомое.

— Конечно, конечно, — закивал Шеврикука. — И мне ваше.

— А на Северном флоте вы не служили?

— Нет. На Северном я не служил.

— Тогда, наверное, в Севастополе?

— Нет. И в Севастополе я не служил.

— Ну и ладно. Тем более следует промочить горло. Пойдемте к Мельникову.

И Подмолотов повлек упирившегося Шеврикуку из коридора к столу. Сергей Андреевич Подмолотов был мужчина шумный, из породы громобоев, он и носом издавал громкие звуки, нос этот был солидный, трубой, напоминал нос Корнея Ивановича Чуковского. Сергей Андреевич в Департаменте трудился в должности инженера по технике безопасности, но и во дворе и в доме его знали прежде всего как бывшего и доблестного моряка. Срочную службу он проходил на непотопляемом крейсере «Грозный». Его и называли во дворе не Сергеем Андреевичем и не Сергеем, а то Крейсером, то Грозным.

— Митя! Мельников! — загремел Подмолотов. — Смотри, кого я привел! Вот, видишь! — И уже шепотом: — Запоминаю, как вас именуют, в голове нынче все перемешалось, извините...

— Меня? — замешкался Шеврикука. — Игорем Константиновичем...

Он сам себе был удивлен. Случались эпизоды, когда в людских компаниях и передрягах ему приходилось придумывать себе имя и отчество. Но «Игорь Константинович» никогда не являлось ему в голову, и не было никаких объяснений, почему теперь он объявил себя именно Игорем Константиновичем.

Впрочем, никто на него, похоже, не обратил внимания. Дмитрий Мельников, узкий в кости, деликатного сложения блондин, кивнул из вежливости. И ему, наверное, лицо Шеврикуки показалось знакомым. Но Мельникова, вцепившись в куртку, тянул к себе возбужденный собеседник с намерением то ли расцеловать Митю, то ли плюнуть ему в физиономию. И собеседник этот проживал в Землескребе. Департамент в пору расположения к нему городских властей выбил здесь немало квартир. Собеседник Мити был экономист Дударев, красавец мужчина лет тридцати пяти с коварными тонкочерными усами графа Люксембурга или князя Эдвина, покоровшего королеву чардаша, вертопрах и плясун, в словесных баталиях способный обескуражить и самого Радлугина. Наконец, Дударев расцеловал Митю. Но тут же гордо оттолкнул его от себя и сказал:

— Ты — мельник, колдун, обманщик и вор, и дело наше, еще и не начатое, а значит, и тем более хрупкое, желаешь предать!

— Почему я обманщик и вор? — пьяно пробормотал осевший на стул Митя.

— А потому что опера есть такая композитора Фомина «Мельник — колдун, обманщик и вор». Или сват. Не важно. Лучше вор! Ну ладно, мельник ты теперь только по фамилии. И небось уже не колдун. Стало быть, остался только — обманщик и вор!

— Почему я обманщик и вор? — обиженно повторил Митя. — Почему я...

— Ты, Дударев, не прав, — вломился в разговор Подмолотов. — Ну конечно, Митька уже не мельник. И где они, мельницы, где? Где мука? Где вермишель и рожки? Но колдуном-то он может быть, их-то хватает!

— Могу! — тут же откликнулся Мельников. — Колдуном — могу! И прабабка моя была колдуньей. Под Дмитровом. В селе Ольгово, в имении Апраксиных, там, где Пиковая Дама на портрете... Колдуном — могу!

Сил у Мити хватило лишь на это заявление, веки его смежились, он заснул.

— Все он врет! — заключил Дударев. — И дело наше поддержать не желает!

— Какое дело? — спросил Подмолотов.

— Тише! Тише! — зашипел на него Дударев. — Неугомонный не дремлет враг!

Сейчас же из угла комнаты воздвигся человекобык с бокалом в руке и запел: «Смело мы в бой пойдем за власть Советов и-и-и, — папел певца поперся вверх, превращаясь в восклицательный знак или в жезл управителя движением, — и-и-и как один умрем в борьбе за это!» «Бордюков, успокойся!» — приказала певцу крепкая обильная дама, похожая на метательницу ядра, сама будто выложенная из ядер, за столом она хозяйничала, и ее слушались. Вот и Бордюков, испив из бокала, крикнул, сел и успокоился. «Бордюков — это наш кадровик. И по общим делам... — зашептал Шеврикуке Подмолотов, видимо посчитавший, что свежего человека следует просветить. — А соседка его — Совокупеева, она передовых взглядов и всегда в президиумах, тоже экономист, как и Олег Дударев, но сознательностью выше... А вон та барышня, раскраснелась вся, это наша прелестная Леночка Клементьева, музыковед, она из музыкального управления. Бывшего, конечно, бывшего...» «Какое в вашем Департаменте могло быть музыкальное управление?» — усомнился Шеврикука. «А как же! — Подмолотов сомнениям Шеврикуки чуть не обрадовался. — А моряк-то великий, пусть и не служил на крейсере «Грозном», но за сколько лет все предвидел и написал «Полет шмеля!» Леночкино управление занималось биомызыкой, расшифровкой серенад и трудовых песен шмелей, других разных насекомых. Леночка, скажем, вела стрекоз, ну я еще кое-что, вы понимаете... — Тут Подмолотов зашептал совсем тихо, губы его почти сжались. — Конечно, мы и шмелей курировали, и их процветанию содействовали, но и не только... Много чего секретного... Теперь другое мышление. И правильно... Но было, было... Вот и Митя Мельников, Эдисон с Яблочковым, такие темы разрабатывал, такое изобретал, что и рассказать нельзя, талант и гений!» «Точно! — подтвердил усевшийся рядом Дударев, плясавший только что за стеной, налил всем в рюмки жидкость бурого цвета и тоже зашептал: — Митьке-то давно быть доктором, академиком, а он лодырь и карась, он и теперь уже такое соорудил, почти соорудил, что чего хочешь материализует. Вот все, что Крейсер Грозный врет, и это материализует!» «Я никогда не вру! — обиделся Подмолотов. — Нигде. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Ты же знаешь». «И такого человека, как Мельников, разогнали и сократили? Как же так? — не поверил Шеврикука. — Его куда только с почетом не звали, а он сказал: буду как все. И его не сдвинешь». «Дурак он! — вспомнил возмущенно Дударев. — Колдун, обманщик и вор! И дело наше поддержать не хочет! Предатель!» — «Какое дело?» — «Гише! Ша! Замолкли! — зашипел Дударев. — Выпьем лучше! А Ленка-то как на него смотрит. Тоже дуреха из оленьего стада!» Музыковед Леночка Клементьева, рекомендованная Шеврикука Подмолотовым, и впрямь во все время их разговора не сводила с Мельникова черных глазищ, восторженных и жалеющих, и все видели, что она в Митю влюблена. На Митю глядел и ее приоткрытый рот. Хотелось бы сказать: ротик. Но нет, у Леночки был именно рот, и большой, нисколько, впрочем, ее не портивший. И вызывав-

ший даже предположения, что Леночка — барышня не только благоуханная, но и страстная. Теперь она явно желала подойти к Мите и замереть возле него, оберегая Митин сон. Но сила вмещенного в нее напикта подняться ей не позволяла. «И-и-и! — опять взлетел палец Бордюкова. — Как один умрем в борьбе за это!» Теперь певцу на глотку не наступили, а даже попросили начать кантату «От края до края по горным вершинам, где вольный орел совершает полет», и он, обнаружив в себе ансамбль Александрова, просьбу ринулся исполнять. Бордюкову стали подтягивать. Хоровое пение в Останкине никогда не умирало, менялись лишь вкусы и пристрастия любителей. Долгие годы здесь, как помнилось Шеврикуке, звучали все более трогательные, бередящие душу или, напротив, обнадеживающие слова. Вроде таких: «Ромашки спрятались, опали лютики...» Или: «И снится мне не рокот космодрома...» Или: «Без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом!» Или: «Из полей доносится «Налей!» И конечно: «Горная лаванда!» Где те устойчивые времена! Сейчас же получалось, что квартиросъемщики и их гости при хоровом пении из лирического состояния впадали в гражданское. При этом свирепели, и орали, и готовы были бить посуду. Шеврикука поглядывал на солиста, человекобыка Бордюкова, и прикидывал, перевернут ли стол вместе со спящим хозяином или нет. Не перевернули. Утомились... Тут он наконец разглядел, что на столах осталось и что с них уже было взято. При нынешних затруднениях к Мельникову принесли закуски и напитки из семейных добыч и запасов, все больше домашнего приготовления. Жидкость от разных специалистов была своего цвета — и бурая, и свекольная, и мутно-оранжевая, и прозрачная, как совесть отечественного налогоплательщика. «Кони сытые бьют копытами!» — забрал Бордюков. Его остановили предложением выпить за урожай и за преодоление кризиса в Новой Гвинее.

— Мо-ол-ча-ать! — вскочил вдруг на стул мелкий взъерошенный мужчина с тремя жетонами победителя соревнования на эпонжевой ковбойке. — Мо-ол-ча-ать! У нас что? Нам что — знамя вручили? У нас поминки. Мы упразднены. Мы сокращенные. Нас нет. Нет. Мы живые трупы. Мы привидения. А тут поют и пляшут! Ра-зой-дись!

— Свержов, успокойся, спать пора, баиньки пора! — Возле оратора сейчас же оказался легкий Дударев, стал за ногу стаскивать Свержова с кафедры, подоспела Совокупеева, она хозяйственно схватила Свержова, заграбастала его и повлекла из компании на покой.

«Наверх вы, товарищи, все по местам!» — стал размахивать руками Бордюков, приглашая публику открыть глотки и ответить Свержову и судьбе. «Это по-нашему, по-флотски! — одобрил Бордюкова Подмолотов, успел шепнуть Шеврикуке: — А Свержова вы в голову не берите. Замначальника управления передних плоскостей. По режиму. Он, конечно, строгий. Да и как же ему без строгостей? Но вы не бойтесь. Это он на нервах». И последовал Бордюкову во вторые голоса.

И все же гулянье криками проявившего бестактность Свержова было расстроено. Вот уж и из песен исчезла энергия. И пили без тостов, кто как — кто с соседом, кто сам с собой, кто чокаясь с рюмкой или плечом дремлющего Мельникова. Шеврикука полагал, что ему пора раскланяться, но встать не мог. Трезвенником он не был, но и не увлеклся, и уж под столами и заборами никто его не наблюдал. А тут он затяжелел. Может, на Башне его слишком растрясали и изволтузили. «Ну ладно, — говорил себе Шеврикука, — еще посижу, послушаю». Как это он прежде-то не проявлял интереса к Мите Мельникову и занятиям Департамента Шмелей? А вдруг и не случайно Продольный с уполномоченным дядей собирались заменить предмет из системы общей связи именно под Митей Мельниковым? Не был ли в их предприятии какой-нибудь особый смысл или технический фокус? А покойный Фруктов, до гибели доведенный, проживал прямо над Мельниковым! Так-так-так! Нет ли во всем этом темного, но и вызванного кознями сплетения обстоятельств, которое ответственный домовый-двухстолбовый проморгал? Чьими кознями? Из-за чего и ради какой выгоды? «Фу ты! — останавливал себя Шеврикука. — Глупости мерещатся, закусывать следовало борщом...» Тут на плечо Шеврикуке доброжелательно возложила руку крепкая дама Совокупеева. Рука ее была горячая, и сама Совокупеева исходила жаром. Или истомой. Нельзя сказать, чтобы возлегание руки на его плече вышло для Шеврикуки неприятным. Опять Шеврикука подумал, что Совокупеева может — и удачно — толкать ядро и вся сложена из ядер. «Как это материя, тряпки всякие выдерживают, как не треснут, когда ядра ее перекатываются?» И в этой ленивой мысли Шеврикуки не было неприязни, скорее содержался комплимент женщине. «Такая и в Доме Привидений бы не пропала, — подумал Шеврикука. И тут же на себя фыркнул: — Не пропала бы! Она там бы в первые привидения вышла, да еще бы и свечи в шандалах растопила!» В грезах Шеврикука перевел в Дом Привидений и Леночку Клементьеву, и Леночка увиделась там уместной. В тех же грезах сразу возникли чаровница Гликерия и бесстыжая Невзора, она же Копоть, и стали Шеврикуку гневно отчитывать, Шеврикука их не прогнал, он хотел всех, и хрупких, и обильных, примирить и обнять...

— Какая улыбка у вас благодушная! — услышал Шеврикука явно ласковые слова Совокупеевой. — И хохолок какой... И уши какие большие...

С плеча Шеврикуки горячая рука Совокупеевой двинулась к его лбу, потрепала жесткий клок его русых волос, а потом захватила его левое ухо, сжала его, отпустила и стала гладить розовую мочку и ушную раковину.

— И такую женщину сократили? — млея, произнес Шеврикука. — И такую женщину упразднили? О чем же они думали...

— И сократили! И упразднили! — Рука Совокупеевой взлетела вверх, пальцы сцепились в кулак, и опустилась на стол, произведя переполох посуды. — Давай, друг, дернем с горечью!

Себе из криминальной по классификации Радлугина бутылки она плеснула бордовой жидкости в стакан, оглядела рюмку Шеврикуки в недоумении и заменила ее, как неспособную составить счастье, стаканом же, они дернули с горечью, и Шеврикука понял, что Совокупеева его сейчас повлечет. Но опять загрели, заголосили человекобык Бордюков и Свержов со значками соцсоревнователя, теперь вместе, вскочив на соседние стулья, правда, один выступал с песней, другой с устной прокламацией — звал с ружьем и на улицу. Но песня не была поддержана, и ружье не нашлось. В Шеврикуке же все текло и колыхалось, и состоялись минуты, когда жаркая дама Совокупеева увлекла его в приют любви, и было испытано им удовольствие, будто бы он откусал сдобный пирог с малиновым вареньем, только что вынутый на противне из духовки. А потом Шеврикука задремал.

Проснувшись, он ужаснулся: давно столько не спал. Сидел он за столом в квартире Мельникова, и из-под его рук и головы старались вытянуть скатерть. Шеврикука вскочил. «Как же это я? А дела? Дела! Ты на больничном! Ты на больничном!» — тотчас затвенели над ним бубенцы; Шеврикука огляделся. Легкий Дударев, тихие поутру Подмолотов, Совокупеева и Леночка Клементьева убিরали в квартире, и Шеврикука вызвался носить посуду на кухню. Совокупеева на него и не посмотрела, воспоминания о пироге с малиной из духовки предлагалось не держать в голове. Впрочем, воспоминания эти и не слишком были нужны сейчас Шеврикуке.

В коридоре под потолком, вытянув руки в ноги будто в полете, раскачиваясь, висел человекобык Бордюков и, не глядя вниз, нечто бормотал. Под ним стояли Митя Мельников и еще более, чем ночью, взъерошенный соцсоревнователь Свержов, уговаривая кадровика, корифея анкет и личных дел снизить к людям. Бордюков мрачно мычал и мотал головой. «Как это он башку-то смог пропихнуть в кольцо? — удивился Шеврикука. — Он же теперь ее оттуда не достанет». Митя Мельников из двенадцати колец, родственных гимнастическим, устроил себе под потолком место для умственных полетов и обывательских мечтаний. Имели же туземцы в Западном полушарии и до Колумбовых каравелл гамаки. Митя просовывал голову в кольцо, остальные кольца и ремни держали его туловище, раскинутые ноги и руки, Митя покачивался в квартирных высях, отдыхал, обмозговывал свои технические соображения, а то грезил. Но это Митя. А Бордюкову-то зачем потребовались выси? И каким макарон сумел он взлететь? Впрочем, не Шеврикуки это было дело. Спускаться на пол Бордюков не желал, а может, и не соображал, где находится. Совокупеева, выйдя в коридор, спросила, опохмеляли ли Бордюкова или нет, и, узнав, что не опохмеляли, посоветовала принести стакан «лигачевки», но не поднимать его к объекту, а поставить на пол. Увидев под собой самогон, Бордюков задергался, хотел было ввести себя в штопор, но не вышло. Подставили стремянку, с трудами и ругательствами высвободили тело Бордюкова, а голова не давалась, была в два раза шире кольца.

Следовало кольцо пилить. Пока искали пилу или ножовку, Шеврику-ка, поморщившись, поднялся по стремянке, растянул кольцо, с тушей Бордюкова чуть ли не рухнул на пол, с метр вынужденно пролетел. Совокупеева удивилась, стояла озадаченная, впрочем, недолго. Действия Шеврикуки, возможно, укрепили ее в чем-то, она взглянула на него со значением, но сейчас никуда не повлекла. Ушла по делу. А Бордюков шарахнул стакан и потребовал еще.

— Ну нет! — решительно сказал Дударев. — Все выпито, пролито и испарилось! Сам бы с удовольствием, но не имеем. Сейчас все вымоем, вытрем и пойдем в парк, там под каждым кустом сидят дяди Гриши и тети Грани, у них на квартирах курятся напитки и марочные, и ясновельможные.

Бордюков уныло кивнул, подниматься с пола не стал. Когда действительно все было вымыто и вытерто, Дударев предложил и Леночке с Совокупеевой участвовать в оздоровительной прогулке. Леночка, кротко, влюбленно взглянув на Митю Мельникова, было согласилась, но Совокупеева цыкнула на нее, заявив, что после вчерашнего надо думать не о душе, а о хлебе насущном. Хлебом-то все же именно и жив человек, а в три часа им с Леночкой назначен дорогой разговор в хорошем совместном предприятии.

— Да-да! Конечно! — рассмеялся Дударев. — в советско-йоскаролинском. Будете в ихнем «Макдональдсе» накрывать на стол. Подадите нам моченый горох: «Просим вас, мужчины!..» Мы-то как раз в парке и поговорим о деле. И Митичку заставим в него вступить.

— Заставим! — утвердил с пола Бордюков.

— Нет, — заявила Совокупеева. — в твое дело включиться, коли будет нужда, успеем. Нам с Леной надо сегодня сходить. А перед тем зайти в баню и к парикмахеру.

— Ну смотрите, — сказал Дударев.

6

Прежде останкинским мужчинам в утреннем и неотложном состоянии не пришлось бы шагать долго. Принял бы их и исцелил незабвенный пивной автомат на Королева, пять. Но, увы, в восемьдесят пятом году открылось новое внеисторическое сражение с пороком, в результате чего помещение автомата было даровано райотделу милиции. На моей памяти таких государственных сражений происходило много, начинались они всегда с души, с газетных слез матерей и жен, с печалей по поводу подпорченных бормотухой и вражьими силами народных генов, а заканчивались исключительно повышением цен на сосуды, столь приятным населению. Но кампания восемьдесят пятого года оказалась особенно резвой и отечественно-спасительной. При ней не только повысили в нравственных целях цены, издали «Роман-газетой» тексты тихонравного медика Углова, обрадовали торговлю

всех видов, но и вызвали беспредельное производство самогона, всюду называемого, независимо от удач изготовителей, «лигачевкой». А останкинских жителей лишили пивного автомата. Вот теперь наши знакомцы и шагали из Землескреба в Шереметевскую дубраву имени Ф. Э. Дзержинского.

Шагали они в шашлычную. Ни шашлыков, ни опасных для желудка «колбасок», возводимых в меню в достоинство купат, в той шашлычной уже не водилось. Там можно было заказать на закуску песочное печенье, а в случае счастливой торговли — морскую капусту и морское же существо кукумарию. Но зато рядом в зарослях бузины и черемухи обретались дяди Гриши или тети Грани, с ними несложно было порассуждать на предмет самогона, не вынимая из карманов визиток. Шеврикука вовсе не хотел идти в парк, но его уговорили составить компанию. Он даже сопротивлялся, бормотал что-то о делах, но Дударев, нынче самый порывистый и устремленный, удивился: «Какие такие, Игорь Константинович, дела, когда вы на больничном?» Тут и Шеврикука удивился: экий дотошный и ушастый этот Дударев, всего-то раз он и назвал себя Игорем Константиновичем, а тот удержал в памяти. Насчет больничного Шеврикука и вообще не помнил, что кому-то говорил о нем. Неужели его так разобрало ночью, что он принялся болтать людям про обстоятельства своего существования? Он и согласился пойти в парк с бывшими тружениками Департамента Шмелей, чтобы выяснить, не открыл ли он в загуле о себе чего и похлестче.

Но спутники по дороге в парк особого интереса к его персоне не проявляли. И если Дударев и Подмолотов выглядели оживленными и нечто предвкушавшими, то Свержов и Митя Мельников шагали молча и в печали, а Бордюков, вчерашний песельник, просто плелся. Можно было предположить, что эти пятеро в друзьях прежде не ходили. Возможно, лишь проживание в Землескребе делало их останкинскими земляками, да и разгон Департамента Шмелей сбил их в кучу. Отчего-то Шеврикука вспомнил о домовом Петре Арсеньевиче, хотя после воскресных посиделок сокращение вряд ли тому грозило.

— Ничего, ничего, сейчас поправим состояние, — обратился к Шеврикуке Дударев. — И о деле поговорим. Вы, Игорь Константинович, кто по профессии? Я, возможно, прослушал...

— Смотря что считать профессией, — сказал Шеврикука.

— Да, да! Конечно, конечно! Вы правы! Вот наш прекрасный Бордюков не имеет никакой профессии, а дела делал.

— Не делал, — сказал Свержов, — а портал людям жизнь.

— Это нас сейчас не касается, — махнул рукой на Свержова Дударев. — Так что вы, Игорь Константинович, умеете делать?

— Многое, — вздохнул Шеврикука. — Многое чего умею делать...

— Ну уж, наверное, не все, — рассмеялся Дударев. — Вот, скажем, то, что смог бы сделать Митечка Мельников, вы, думаю, не сможете.

Он у нас уникальный талант. К тому же из колдунов. По отцовской линии.

— И по материнской! — добавил Подмолотов. — А вот морских узлов вязать он не может!

— Как твоя фамилия? — спросил Бордюков.

— Подмолотов, — сказал Подмолотов.

— Ударение? — спросил Бордюков.

— Подмолотов.

— Не ври!

— Как у наркома иностранных дел. Но с приставкой.

— А ты его лично знал?!

— Я-то? Нигде, ни за что, ни при каких обстоятельствах! Конечно, знал. Мы строим в Бирюлеве, я тогда был в СМУ, он идет мимо, ему девяносто шесть лет, он говорит: ты, что ли, тоже Молотов? Нет, говорю, я Подмолотов. Он говорит: ну все равно, давай выпьем, а у меня стакан в руке, я ему даю, он выпил, говорит: хороший спирт. Сталин, говорит, дурак, меня не уважал, а Хрущева, дурака, привечал.

— Все ты врешь! — сказал Бордюков. — Ты вот и на Мельникова грешешь, а сам, уж точно, ни одного узла связать не сумеешь!

— Я-то! — рассмеялся Подмолотов. — Это вот Игорь Константинович, возможно, не сумеет.

— Я сумею, — грустно сказал Шеврикука. — Хотя и надоело.

— А наркомов ты не пачкай! — заявил Бордюков Подмолотову. — И на узлы твои мне наплевать. Где у тебя ударение?

— Я Подмóлотов. И все.

— Здравствуйте! Ты — Крейсер Грозный! — обрадовался Дударев. — Ты — Крейсер Грозный, и более никто!

— А узлы вы все равно не умеете вязать.

— Умею, — поморщился Шеврикука.

— Неужели и выбленочный?

— И выбленочный. Хотя он и противный. И кошачьи лапки. И удавку. И рыбацкий штык. И еще восемнадцать узлов, о которых вы и не знаете.

— Я не знаю?! — возмутился Подмолотов.

— Да, — сказал Шеврикука, — вы про восемнадцать узлов, на флоте не применяемых, и не знаете.

— Какие такие восемнадцать? — растерялся Подмолотов. — Да я все узлы знаю!

— Я могу назвать и еще тридцать узлов, о которых вы И представления не имеете.

— Никогда, ни за что и ни при каких обстоятельствах!

— Хорошо, — сказал Шеврикука. Он почувствовал, что сейчас начнет врать, фанфаронить и надо себя ограничить. И помнить, кто он есть.

— Ну-ка покажите выбленочный-то! — вдруг потребовал Свердлов. — Я вот сейчас шнурки из ботинок выну.

— Погоди! — сказал Дударев. — А полы вы, Игорь Константинович, циклевать можете?

— Полы, — сказал Шеврикука, — могу.

— А рубанком?

— И рубанком.

— А чтоб леща вяленого достать в Самаре? — спросил Подмолотов.

— Это не ко мне, — сказал Шеврикука.

— Я вас уважаю, — заключил Дударев.

— И леща не может! — стоял на своем Подмолотов. — И уж тем более не развяжет ртом двадцать девятый узел!

— Двадцать девятый, тридцать первый, тридцать восьмой ртом могу, — заупрямился Шеврикука. — А вот начиная с сорок третьего, извините, исключительно носом.

— Я тебя уважаю! — сказал теперь и Свержов.

— Сорок третьего морского узла нет, — покачал головой Подмолотов. — Сорок четвертый есть, а сорок третьего нет.

— А давайте поедем в «Кот д'Ивуар», — возмечтал Митя Мельников.

— Сколько ты нам положишь? — спросил Свержов Дударева.

— Не меньше семисот. Поначалу. Иначе вы и не прокормитесь, — сказал Дударев. Тут же взглянул на Шеврикуку: — А вам не смогу дать больше пятисот пятидесяти.

— Я к вам и не собираюсь, — сказал Шеврикука.

— Но-но-но! — погрозил ему пальцем Дударев. — Ишь, уже загордился!

Но уже приблизились к шашлычной. И была тут же обнаружена в зарослях тетя Граня, поход ее за трехлитровой банкой совершался не более двадцати минут. Расселись в воздушном зале шашлычной, день был сухой, не капало, сиделось хорошо. Поначалу молчали, разливали, пили, жевали, фыркали и находили, что стало легче. Похоже, что из Бордюкова, Свержова и Мельникова унеслась тоска, и даже увиделось им некое благополучие в мире и в собственных судьбах. А Дударев и Подмолотов выглядели еще более задорными. Дударев холил расческой коварно-крутые усы, поглядывал, нет ли поблизости каких-нибудь утренних дам, в надежде их развлечь. Но дам не было. А Подмолотов, Крейсер Грозный, явно хотел напомнить публике что-либо из своей вулканической жизни. Шеврикука и выпил всего полстакана, а опять отяжелел. Это было странно.

— Вот так же сидим мы однажды в Эфиопии, — сказал Подмолотов, — крейсер наш посещал с дружеским визитом, и заходят в бар американцы. Они такие же, как и мы.

— Ага! Прямо и такие! — поморщился Свержов.

— Такие же! — заявил Подмолотов. — Может, и еще лучше. Но не хуже. Тем более тоже моряки. Сразу поспорили, чей флот крепче. Естественно, мы их перепили. Очнулся я в госпитале. Но и перед госпиталем я кое-что чувствовал. Мы плыли по Амазонке.

— Ага! По Амазонке! — обрадовался Свержов. — Это какая же Амазонка в Эфиопии?

— Правильно, — кивнул Подмолотов. — Амазонка не в Эфиопии. Она в Бразилии. Нас срочно вызвали в Бразилию. Мы утром там.

— Где Эфиопия и где Бразилия?

— И что! — Подмолотов чуть ли не возмутился. — Под Африкой мы прошли туннелем. Скоростным. Там есть такой туннель. Секретный. О нем нельзя говорить. Но вы люди проверенные. Про Мертвую дорогу слышали? Ну? А этот успели достроить. Не всех сразу отпустили. И вот идем мы, значит, утром Амазонкой. Река дурная! Мутная. И выплескивается в океан. Валы катит. Не пускает. Но кого не пускает? Атомный гигант не пускает! Мы ей пальчиком: не шали, Амазонка! Сразу стала шелковая. Впустила. Но опять видим: дурная. Деревья вдоль нее стоят прямо в воде. Растут друг на друге. Корни у них залезть в глубину не могут, раскорячиваются, зовутся «дошатыми». Доски, а не корни. Во! Хотя и не доски. И все зверье попряталось, засело в лианах. Жутье. И попугаи. Ярких расцветок. Но кое-где все же берег как берег, и на нем поселения. Индейцы голые с пузатыми детьми, пупки торчат, тысячу лет не видели настоящих моряков. Монтесумы. Затерянный мир. Но вдруг — фазенды. Плантации. Негры маются там и тут. Из-за одной такой фазенды у меня и возникли затруднения.

— Куда вы шли-то? — спросил Мельников.

— А в Парагвай. Там несколько адмиралов русских. И генералов. Из эмигрантов.

— Погоди, — сказал Свержов. — Что на фазенде-то?

— А ничего, — сказал Крейсер Грозный. — Ничего. Идем мы и видим — слева по борту на берегу мужика и бабу привязали к столбам и бьют кнутами. Видимо, рабов. Мужик — негр, баба — белая. Красивая. Молодая.

— Изаура, что ли? — лениво предположил Дударев.

— Какая Изаура? — не понял Крейсер Грозный. — Не знаю — Изаура она или Виолетта. Или Флорелла. А только не по мне, когда женщину стегают кнутом. Я говорю капитану: надо или десант, или из орудия главного калибра. Он мужик вообще-то боевой, но тут русского моряка в нем одолел политик. «У нас государственная задача — Парагвай, мы туда и идем. Только туда. А у этих, возможно, семейные причины. Что вмешиваться? Известно, кто при этом получает в морду. И по заслугам». Ну я не мог слушать и смотреть. Я как стоял, так и бросился к левому борту и — ласточкой в мутную воду. Дую саженками, а по женщине опять — хлесть кнутом. Думаю, сейчас вы узнаете, почем Крейсер Грозный! И тут на меня в амазонской воде с боков, спереди, сзади подло напали мелкие сволочи вот с такими зубьями — как иглы в швейной машине. Очнулся я на койке. О чем вам начал докладывать. Лежу завернутый в Андреевский флаг. Где, говорю, я? Вы, говорят, в военно-морском госпитале на пристани Манаус. А как, говорю, она? Как там на плантации? Она, говорят, жива, обложена при-

мочками, плантатор сбежал, фазенда сгорела. А из Сан-Паулу ночью прилетел Пеле, его, правда, мы не смогли к вам пропустить, но он перedal цветы. Действительно, на тумбочке, салфеткой застеленной, кувшин с цветами. Васильки, ромашки, львиный зев, зверобой, колокольчики. И сухой лист. Если бы я не был флотским, глаза бы у меня замокрели. Растрогал меня Пеле. Миллионер миллионером, а знает, какие растения мне по душе. Не испортили мужика деньги. Распеленайте меня, говорю, смотайте с меня Андреевский флаг. Смотрать-то мы, говорит, сумеем, но только вы нас не торопите, вы распеленутый, может, огорчитесь. Это отчего же? А, говорят, вы плохо знаете наши природные особенности. Вы, говорят, возможно, об этих подлых пираньях придерживаетесь превратного мнения. А они не только всю вашу суконную форму русского моряка с брюками клеш сжевали, но и еще кое-что. Как, говорю, и главный предмет? Главный-то предмет, говорят, как раз в первую очередь. И что же мне теперь делать, спрашиваю? А это, говорят, мы не знаем. Опять же если бы я не был флотским, у меня по щеке тихо протекла бы слеза. А они говорят, то, что вы вчера просили, вам пришли взамен. И хорошо пришли. У нас в Манаусе хирурги не хуже, чем в Арканзасе или где-нибудь в Штутгарте. Но если пришитое вас будет тяготить, вы можете его на время отделить. Вещь съемная. То есть, извините, говорят, конечно, не вещь. Но вы сами просили пришить именно это. И не просили, а требовали. И умоляли. Можно, естественно, посчитать, что вы требовали и умоляли в горячечном состоянии или даже в забытьи, но вы убедили нас, что такова ваша мечта и воля. И соблаговолили заверить письменное ходатайство. Вот, пожалуйста, оно. На трех языках. На русском тоже. И ваш отпечаток пальца. Операция проведена уникальная. Ну и сматывайте с меня, говорю, Андреевский флаг. Они потупились. А вдруг, говорят, теперь в моменты слабости вы расстроитесь? Что хоть пришли-то, спрашиваю? Анаконду, отвечают. Какой длины? Одиннадцать метров, экземпляр крупный. Да вы что, кричу, чем же я ее в Москве кормить буду! Это кто — кобель-анаконда или сука? Кобель, успокоили. Вот, говорю, его тем более небось не заставишь жрать мороженный картофель или брюкву. И не надо бы, советуют. Анаконда — змей водяной, конечно, рыскает и по земле, но предпочитает пребывать в струях. Кушает и рыбу, надеемся, что рыба в Москве есть. Ну рыба-то есть, говорю, минтай, хек с головами и без них, мойва. Пока есть. Они обрадовались, приободрились. Если бы вы не просили сами, говорят, именно анаконду, мы бы ее ни за что не пришли. Но вы объяснили, что вы флотский и змей вам нужен водяной. Другое дело, что вы требовали восемнадцать метров, а где их взять? Экземпляры в семь метров уже большие, в девять — просто огромные. Исключительно из уважения к вашей личности мы отыскивали одиннадцатиметровую донорскую особь, а насчет восемнадцати вы нас чрезвычайно извините. Несмотря на братство народов и дружеский визит, мы оказались бесильны. Ну ладно, говорю, не расстраивайтесь, какого змея пришли,

такого и буду содержать. Расчехляйте! Они приступили. Не без волнения. Стали разматывать Андреевский флаг. Торжественно, по протоколу. А анаконда-то почувствовала ослабление режима и зашевелилась. А когда нас с ней окончательно распеленали, она от радости взыграла. Сначала вроде как бы танцевала в воздухе надо мной, в кольца складывалась, а потом выпрямилась в полный рост. Но под углом, потому как мешал потолок. Ну, я вам скажу, змей!

— Бреешь ты! — поморщился Бордюков.

— Не мешай! — осадил его Дударев. — Ну и врет! А ты не мешай!

— Никогда не вру! — сказал Крейсер Грозный. — Никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах. Игорь Константинович не даст соврать. И на пленку это все снято. Там уж вертелись и с телевидения, и от газет, и из рекордов Гиннеса. Они попросили, чтоб я не сразу усмирил змея, чтоб хоть полчаса дал ему побыть в полный рост. У них работа, я понимаю. Я их уважил. Но на полчаса. Через полчаса отбой. Велел змею укладываться. Несите, говорю, с крейсера мне брюки и исподнее. Вам, говорят, надо еще лежать и лучше это делать в пижаме. Это моряку-то в пижаме? Ну все равно, говорят, вам надо сшить особенный костюм с необыкновенными внутренними помещениями. Мне смешно. Какие такие костюмы могут быть лучше черноморских клешей! И нашего исподнего! Принесли. Говорю Анаконде: готовься к размещению. Встаю. Натягиваю клешы. Спротивляется, гад, но чувствует мой характер и силу тамбовского сукна. Крякнул, но застегнул все, что надо. Ремнем и пряжкой закрепил власть над зверем. Ни на одних флотах нет таких клешей и пряжек, как у нас. И зверь, чувствую, присмирел. Пусть, думаю, недоволен, но привыкнет.

— Ну и где же он теперь? — спросил Свержов.

— Где надо, — сказал Крейсер Грозный.

— Погоди, — сказал Дударев. — А функции он исполнял?

— Исполнял, — кивнул Крейсер Грозный.

— По обмену веществ? Или какие?

— Всякие.

— И что же, были охотницы?

— Были?! — хмыкнул Крейсер Грозный. — Мне от них приходилось скрываться. Особенно как дали сюжеты с нами по телевизору. И в кино. В ихних «Новостях дня». Поначалу-то змей и сам хорохорился, гад оказался ненасытный. Он ведь и смазливый, чешуя блестит, гладкая, оливково-серая, по верху два ряда бурых пятен. А морда! Морда смышленная, ноздри раздутые. Одно слово — удав. Какие только дамы не набивались к нам в подруги!

— А ты предпочитал рабынь?

— Для черноморского моряка нет рабынь! Но такие, я вам скажу, находились охотницы и эгоистки, что ради удовольствия готовы были стать проглоченными и переваренными. Может, прежний змей их бы и переварил, но мой был уже флотский. Рыцарь. Никого не сожрал.

А только лелеял. Но жрать был горазд. Волокли ему рыбу, птицу, кроликов, мелких копытных.

— И долго вы куролесили?

— Четыре месяца, — сказал Крейсер Грозный. — Ровно четыре. По просьбам президентов, их жен и дочерей командование разрешило мне быть гостем Латинской Америки. Серега, сказал мне адмирал, постарайся. Ты, сказал он, можешь послужить делу укрепления не хуже, чем наши боевые визиты дружбы. Я — руку к бескозырке! Но потом змей устал. И залег в ил.

— В какой ил?

— Во влажный, — сказал Крейсер Грозный. — Эти гады, эти удавы, эти змеи водяные, эти Анаконды имеют обыкновение. Случись засуха, они тут же мордой, а потом и всем телом — во влажный ил. И в спячку. И дрыхнут так, пока не начнется сезон дождей. Ушлые. И мой туда же. Хотя никакой засухи и не было. Устал. Наскучило ему. Укатали сивку крутые горки. Раскланялся я с Латинской и Центральной Америкой и вернулся продолжать срочную службу в Севастополь.

— С Анакондой? — спросил Дударев.

— Со змеем, — успокоил Дударева Подмолотов. — Тем более что он съемный. Я для него завел чемодан. С дырками. С иллюминаторами. В Крыму он стал зябнуть. Кашлял. Но привык. И опять, гад, пустился в развлечения.

— В Москве ему и вовсе холодно. Небось сюда его и не взял?

— Взял, — сказал Крейсер Грозный. — Закончил службу и взял.

— И он не буянил?

— Сам просился.

— Хорошо, — сказал Дударев. — А если бы тебе пришили не его, а ее?

— Могли бы пришить и ее, — задумался Крейсер Грозный. — Там хорошие хирурги. Она бы давала в год до семидесяти детенышей. В яйцах. А то и больше.

— От тебя?

— Почему от меня? От себя.

— Так-так-так! Семьдесят детенышей! В яйцах! — Дударев воодушевился, достал из кармана блокнот. — Семьдесят яиц в год!

— Да что ты пишешь! — взревел Бордюков. — Кому ты веришь? Этому брехуну?

— Ну и пусть врет! — сказал Дударев. — Слушай и не мешай. И ты, Мельников, слушай. Здесь и для нашего будущего дела есть направление.

Тут Шеврикука чуть было не высказался. И он за все годы трудов в Землескребе не наблюдал каких-либо свидетельств проживания в здании, во дворе его и вообще в Останкино гигантского водяного удава. Но Шеврикука сейчас же сообразил, что лучше молчать.

— Где она? — орал Бордюков. — Предъяви!

— Я не обязан носить змея все время, — сказал Крейсер Грозный. — И нет нужды. У меня у самого восстановилось.

— Может, он ввинтился теперь башкой во влажный ил? — предположил Свержов.

— А хоть-бы и в ил, — сказал Крейсер Грозный.

— Но засухи нет!

— Нет, — подтвердил Крейсер Грозный, и глаза его стали чрезвычайно хитрыми. — Засухи нет. Но у него свои резоны.

— Может, он в том, в детском пруду? — спросил Свержов. — Или в пруду, что у Башни?

— Может, и там, — сказал Крейсер Грозный. — Он свободный змей в свободном государстве. Где хочет, там и проживает. Мало ли у нас водоемов. Но я бы на его месте сидел бы сейчас в Ботаническом саду, в Главной Оранжерее. Там пальмы, там бананы, там в воде цветут лотосы и виктории. И всюду порхают амазонские мухоловки.

— Мельников, обрати внимание и на это признание! — сказал Дударев и опять что-то записал в блокноте.

Шеврикука был совсем тяжел, веки его склеивались, но при упоминании Оранжереи он встрепенулся, то ли в испуге, то ли в недоумении:

— Анаконда в Оранжерее?

Благоразумие, все еще не погасшее в нем, заставило его немедленно замолчать и не встречать в беседу ни с какими вопросами. Но и испуг, и недоумение не прошли. Бразильский змей недалеко от привидений? Но вдруг этому Подмолотову, этому Крейсеру Грозному, известно нечто о привидениях и их доме?

— Идиоты! Жертвы перестройки! — опять заорал Бордюков. — И правильно, что вас сократили и выгнали! Кому вы верите!

— В Департаменте Шмелей, — сказал Свержов, — ты сам много чему верил. И нас заставлял верить!

Крики и протесты Бордюкова были признаны приглашением снова промочить горло и продолжить действие, прерванное визитом дружбы в Эфиопию. Но Крейсер Грозный не мог успокоиться. «Ах, вы не верите! — заявлял он. — А из вас кто-нибудь пил с императором? Никто! А я пил! С императором! С Хайле Селассией! Это настоящий мужик! А этот, который его прогнал, ихний Мариман, Менгисту, дрянь! Я пил с императором!..» Потом Крейсер Грозный пытался поведать еще нечто. В частности, о том, что он родился в мешке с цементом и клинкером при Михайловском цементном заводе в Рязанской области. И о том, что уже в четыре года он был кандидатом в мастера спорта по стрельбе из рогатки катышами клинкера, резина, же шла на рогатки из противогазов... Но Крейсера Грозного теперь никто не слышал. Пили, галдели, Шеврикуке стало совсем худо, соображал он расплывчато и все же старался не пропустить ни слова про Оранжерею. Однако ни про анаконду, ни про Ботанический сад с прудами и

Оранжевей более не вспоминали. Лишь звучало иногда: «А вы не пили с императором!» И Шеврикука, расслабившись вовсе, заснул.

А проснувшись, растерялся. Сидел он неподалеку от шашлычной под кустами бузины, вблизи нескольких пустых трехлитровых банок и граненых стаканов. Прежние собеседники Шеврикуки пропали, а справа от него полулежал теперь странный тип, дурно пахнувший. Впрочем, во рту Шеврикуки, внутри его всего было так противно, что обращать внимание на чужие дурные запахи или осуждать их было бы неразумно. Новый сосед Шеврикуки походил на карлика с Веласкесовых полотен, голову же его, здоровенную, подпирала шея будто бы раструбом боярского воротника. «Ну что? — спросил карлик. — Пойдем?» «Куда?» — удивился Шеврикука. «Как куда? — подмигнул ему карлик. — Куда вы предлагали». «А куда я предлагал?» — спросил Шеврикука. «Ну знаете! — теперь уже удивился карлик. — Как же так, Шеврикука!»

И Шеврикуку осенило: карлик — из духов Башни. Или хотя бы от них.

Они встали и пошли. Когда дух поднялся, Шеврикука увидел, что тот и не карлик. Уродец точно, но не карлик. Руки и ноги его были от коротышки, но лобастой головой своей он доходил Шеврикуке до плеча. И, возможно, по иным, нежели у Шеврикуки, эстетическим представлениям он и не считался уродцем.

— Пэрст, — сказал дух. — Меня зовут Пэрст. Вы, может, запомняли.

— Запомнял, — согласился Шеврикука. — И куда предлагал идти, запомнял. Зачем — тем более.

— А я помню, — сказал Пэрст. Возможно, он был просто Перст, но гласную в своем имени возводил достоинством выше, с очевидной претензией, будто намекал на нечто важное, о чем вынужден пока молчать.

Но был он жалок и чем-то удручен, порой его била дрожь, не заметить этого Шеврикука не мог.

— Я во сне, что ли, с тобой разговаривал? — спросил Шеврикука.

— Нет, — сказал Пэрст. — Мы сидели. И пили. С нами и еще были. Но их раздражал исходящий от меня запах. Они затыкали носы. Они ушли. Тогда вы и признались, что вы Шеврикука. Но, может, вы и не Шеврикука?

И Пэрст остановился. Соображение, пришедшее ему в голову, похоже, его напугало.

— Нет. Я именно Шеврикука.

— А я — Пэрст, вы поняли! — обрадовался Пэрст. — Я вам рассказывал!

И последовал повтор, надо понимать, истории Пэрстовых злополучий. Там, на Башне, ему было приказано засесть в капсулу и замереть в ней. Хоть бы и на три столетия. На сколько — не его дело. Закладывали Оптический центр за гостиницей «Космос» и в обстановке

пятифлажного митинга, естественно, с непременными взаимоуколами, замуровали в фундаменте капсулу с посланием к потомкам. Башня уже давно рассаживала в капсулы наиболее важных для города фундаментов своих агентов. Ну не агентов, а неизвестно кого. И неизвестно зачем. Возможно, конечно, с чрезвычайно секретной миссией, в которую мало кто был посвящен. А может, и на всякий случай. Вот и Пэрсту пришла пора засесть в капсулу. Радость грошовая, но приказали. А он кто? Он никто. К концу митинга он вместился в капсулу. Капсула хорошая. Вроде футбольного кубка. Блестела. Из титанового сплава. Послание в пластиковой упаковке в ней уже лежало. Тут Пэрст услышал: главного оратора стали партийно подковыривать. Мол, что — послание. Можно было бы отправить потомкам и ценный подарок. Мол, когда закладывали цирковое училище на улице Расковой, клоун Карандаш бросил в капсулу тысячу рублей, земля ему пухом. Тот, кого подковыривали, рассмеялся. Что потомкам ваши рубли! Мол, мы способны уже катать людей бесплатно в такси, а в будущее отослать платину и бриллианты. Полез в карман и опустил в капсулу подарки. Что-то звякнуло. Вышло эффектно. Аплодировали. Тут капсулу прикрыли мраморной плитой с золотыми словами «Потомкам — в третье тысячелетие!». И к Пэрсту пришел покой. Но ненадолго. Часа через три двое мастеров, опускавших плиту, ее и подняли. Что-то они слушали на митинге, но невнимательно. Они развинтили капсулу, искали платину, бриллианты или на крайний случай тысячу рублей и, не найдя их, обозлились. А нашли они четыре пробки от пивных бутылок. В бессильном раздражении они справили на безвинных Пэрста, послание и пивные пробки малую и большую нужду, полили их еще чем-то вонючим и опять придавили мрамором. Капсула была опошлена, и Пэрст посчитал, что имеет право покинуть ее. «Э-э! — подумал Шеврикука. — Теперь тебя и не Пэрстом будут называть, а Капсулой. Если не обявят дезертиром». И Шеврикука вспомнил, что обещал провести Пэрста на фабрику химчистки за Ботаническим садом и окружной дорогой.

Но вместо химчистки они оказались в пивной на улице Фонвизина, где запахи Пэрста-Капсулы выделить из других ароматов кому-либо было недоступно. Шеврикука чувствовал, что его может занести, что сейчас он станет врать, хвастать и важничать. «Подумаешь, анаконды и титановые капсулы с посланиями! Да я эти анаконды! — принялся выступать Шеврикука. И очень громко. — Да я эти анаконды сшибал с деревьев из рогаток! Катышами клинкера! И я пил с императором! Хайле Селассией!» «Какие анаконды?» — не поняли Пэрст-Капсула и свежие фонвизинские собеседники. «А такие! — стукнул кружкой по столу Шеврикука. — Любых размеров и шкур! Резину на рогатки брал из аэростатов! Резал их на полосы садовыми ножницами! Или вот. Из Киева базарят с англичанами, будто те зажилили бочку золота полковника Полуботка, из запорожской казны... Или вот эти чудики со станции Тайга ищут золотой запас Колчака! А я про такие

клады знаю, что!.. Князей Черкасских, например. И ходить далеко не надо. В версте отсюда, в Останкинском парке...» Шеврикука даже и рукой указал, в каком направлении следует идти, чтобы обнаружить в парке клад князей Черкасских. Скептиков, впрочем, разевавших рты, Шеврикука попытался удивить рассказами о думном дьяке Шелкалове, владевшем Останкином после отмены опричнины, тот тоже много чего накопил и кое-где закопал. «Но не под кедрями, — тут же расстроил слушателей Шеврикука. — Не под кедрями. Кедры привез из Сибири уже именно один из князей Черкасских, не скажу какой, ни ни, не скажу, а князя Черкасские пошли от кабардинского князя Темрюка, и золота имели — во!» Далее Шеврикука свернул к Мечу-Кладенцу, Чаше Грааля, а проявив себя драматическим тенором, пропел: «Отец мой Парсифаль, богом венчанный, я — Лоэнгрин...» Тут его опять сморило...

7

Шеврикука лежал в малахитовой вазе.

На полу, на ковре, в солнечных лучах грелась анаконда.

В дверь позвонили. «Экие глупые слова, — подумал Шеврикука. — Ведь не в дверь позвонили. В квартиру. В меня позвонили». За дверью просителем стоял Пэрст-Капсула. «Брысь!» — сказал Шеврикука анаконде, и она исчезла. А может, ее и не было.

Шеврикука открыл дверь и впустил Пэрста. Наверное, тот отмывал себя. И долго. Возможно, натирался благовониями. Но дурной запах совсем не истребил. Впрочем, Шеврикуке все было мерзко сейчас.

— Меня прислали к вам, — объявил Пэрст-Капсула.

Он снова дрожал. Был напуган. Не теми ли, кто прислал его?

— Ну и что? — грубо сказал Шеврикука.

— Меня прислали к вам... И просили вас прибыть для беседы...

— Прямо сейчас?

— Желательно вовремя.

— Еще чего! — И Шеврикука зевнул, давая понять, что лучше бы его оставили в покое, к чему он более теперь расположен.

— Я вас провожу...

— А ждать мне не придется? — спросил Шеврикука с вызовом. И сейчас же осадил себя: опять он хорохорится! Ведь был случай... Впрочем, перед Пэрстом можно было позволить себе и покуражиться!

Но в баню бы теперь! И веник в руки!

— Ладно, — сказал Шеврикука. — Сейчас и отправимся.

«Явилось бы мне мое Монрепо, — подумал Шеврикука, — где никто бы не мог нарушить мое уединение и покой...» Главное — Монрепо! Да, были и Монрепо, и Монплезиры, но у кого? К тому же он, Шеврикука, всегда с большим интересом относился к затее светлей-

шего князя Александра Даниловича Меншикова устроить Монжураж. И сам кое-что придумал и осуществил. Но — где, как и когда!..

«Однако теперь-то что было мечтать о венке и парной! О, Монрепо! Ловок, брат! Сейчас тебя возьмут, подхватят служители с целлюлозно-кукольными голосами, повлекут, со щипками, оплеухами, с ударами ног из канфу, со швырянием о бетонные стены, в поднебесье, а потом и в седьмые небеса Останкинской башни. Предоставят для беседы. Можно предположить, как и чем она закончится.

— И велели передать, — сказал Пэрст-Капсула, — что вы вольны принять приглашение на беседу, а вольны и не принимать его.

— Естественно, волен! — сказал Шеврикука. — Конечно, волен! Но принимаю. В здравом уме. И с превеликим удовольствием. Вот только повяжу бант на груди.

— Какой бант? — спросил Пэрст-Капсула.

— Из черного бархата.

Какой бант?! Из какого черного бархата? Он ошалел, что ли? Что он мелет? «Что мелю, то и мелю!» — сказал себе Шеврикука. Были у него бархатные ленты в укрытии, были желтая, фиолетовая и черная, и Шеврикука понял, что именно теперь бант он непременно повяжет, пусть его и выставят посмешищем, пусть унижат или даже удавят, стянув бархат на шее. Отправив посланника духов во двор, Шеврикука пробрался к тайнику и уважил свою блажь.

— Идем к Башне? — спросил Шеврикука во дворе.

— Идти никуда не надо, — сказал Пэрст-Капсула. — Вы просто закройте глаза. И все. А я ни вам, ни им больше не нужен.

Шеврикука закрыл глаза.

— Поднимите веки, — услышал он. — И присаживайтесь.

Шеврикука стоял возле кресла. В мягкую глубину его он и погрузился. Пребывал он в некоем помещении-ящике, по размерам схожем с вагончиком строителей. Напротив него, в кресле же, сидел крупный мужчина или, скажем, существо, принявшее облик крупного мужчины. И вылитый Бордюков. Нет, разглядел Шеврикука, не Бордюков. Пожалуй, весомее Бордюкова. И более ястреб. Но из породы Бордюковых. Никого и ничего более вокруг себя Шеврикука не наблюдал. Чистейшие бледно-фиолетовые стены вагончика были прорезаны четырьмя квадратными окнами, виды в них все время менялись, и вскоре Шеврикука сообразил, что их вагончик летает вблизи Башни, над Останкином и парком, причем шальным образом, кувырдается, крутится, ныряет вниз и возвращается в выси, покачиваясь, выделяет и иные кренделя городского пилотажа, возможно, бочки и иммельманы, не причиняя при этом Шеврикуке никаких неудовольствий и неудобств.

— Вас не трясет? И не болтает? — осведомился тем не менее хозяин летающего помещения. Или не хозяин.

— Нет, — сказал Шеврикука. — Не трясет. И не болтает.

— Ну и хорошо, — кивнул собеседник. — Но можно закрыть оконца шторами, чтобы нас не отвлекало движение. А?

— Меня оно не отвлекает, — сказал Шеврикука.

— Вы в напряжении. Будто я намерен вас потрошить или подвешивать на крюк. А зря. Наше общение ни к чему не должно обязывать. Ни меня, ни вас. Из него может выйти толк, а может и не выйти. И мы разлетимся. Да, я не Бордюков. И не его брат. И не параллельная структура. В своих сущностных буднях выгляжу иначе. Или никак не выгляжу. Но ради контакта, ради соответствия вашим привычкам меня обрядили в подобие Бордюкова. Имея при этом в виду, что ваши мысли могут или даже должны получить некое направление. Я с этим мнением спорил, но уж ладно...

— Какое направление мыслей? — спросил Шеврикука. — Я у вас сегодня в общем отделе? В кадрах, что ли?

— Вот-вот, я этого и опасался, — сказал собеседник. — Вашим мыслям дали коридор, и суть нашего общения чрезвычайно сужается. Вдобавок происходит несомненное приспособление и вас, и нас к людским стереотипам. А ведь мы и вы — не люди.

— Да, мы — не люди, — сказал Шеврикука, но сказал так, будто давал понять, что домовые точно не люди, а вот что за компания примашила его в выделяющийся воздушные кренделя вагончик, с уверенностью судить он бы не стал.

— И мы не люди, — услышал Шеврикука. — И не пришельцы. Мы именно отродья, какие завелись на Башне. По вашей останкинской терминологии. Отродья! Башенная шваль! В лучшем случае — духи-самозванцы! — И новый знакомец Шеврикуки рассмеялся. Однако сразу же сказал строго: — Но вы нас боитесь. И не напрасно. При этом вы нас не понимаете, а скорее всего, и не способны понять. Из-за вашего консервативного высокомерия. К тому же уровень... как бы помягче сказать... ваших представлений и знаний таков, что вы и не можете... Извините, вы гадаете, как меня называть. Естественно, не Риббентропом. Извините за прошлые тычки и щипки, но вы сами, как мне сообщили, дали повод для них. Имя — или название, или прозвище — вы мне можете придумать сейчас сами. Подлинное я не имею возможности произнести. Вы его и не запомните.

— Бордюр, — сказал Шеврикука. — Вы не Бордюков, но Бордюр.

— Странно. Странно как-то... Бордюр тонок и длинен, а я вон какой обширный и свирепый. И Бордюр, он вроде бы внизу и что-то ограничивает? Или ограждает? Ну ладно... И примите к сведению. Я личность в вашей истории случайная. Попался под руку. Просто я из тех, кто может надевать человечью личину. Пусть это и противно моей натуре. Многие же пока не могут. Иные и вовсе не имеют форм и иметь их не должны. А они-то как раз специалисты. Но, может быть, вы опять потребуете иного собеседника?

— Нет, — сказал Шеврикука. — Да и мне ли требовать?

— Хорошо, — сказал Бордюор. — Мы сошлись с вами в том, что мы и вы, к счастью или не к счастью, — не люди. Для людей мы за пределами их жизни. Вас они и просто называют нежитями.

— Нежити — это тубинги в туннелях метрополитена, — резко сказал Шеврикука. — Но и тубинги бетонными ребрами ощущают проходящие мимо них поезда.

— Согласен, Шеврикука, согласен! — Бордюор в воодушевлении рукой по руке хлопнул. — Но люди, для которых вы все же есть, все равно считают вас чем-то восемнадцатистепенным.

Тут Бордюор умолк, похоже, посчитал необходимым успокоиться.

— А отчего вы, — спросил он, — решили повязать именно черный бант? Вы могли повязать желтый. Или фиолетовый. А повязали черный. Почему?

— Не знаю, — сказал Шеврикука. — По дурости.

— И ведь люди, — Бордюор вскинул сцепленные пальцами руки над головой, а потом обрушил их вниз и пальцы выпрямил, возможно указуя на презренную останкинскую землю, — не стоят того, чтобы мы были у них в восемнадцатистепенных! Даже — в третьестепенных! Не стоят! Быть у жалких, озлобленных существ в услужении мы не намерены! Нет!.. Черный бархатный бант вы, значит, повязали по дурости?

Шеврикука угрюмо кивнул.

— Дурость нынче свойство редкое, — заметил Бордюор. — Все вокруг исключительно умные. А выходит, впрочем, всякая дрянь... И небось по дурости вы познакомились с нашей неряшливой мелочью. С Пэрстом этим. А? По дурости? — Бордюор хохотнул, в смехе его было одобрение — мол, так и надо, старик, все путем! — и даже как бы обещание покровительства: со мной, мол, купишь и сырокопченный окорок, и электрический уют. — Но я бы посоветовал не иметь более с этим недотепой-полуфабрикатом дел. Дел с ним, видимо, и не случится. Он будет исторгнут или разъят за ненадобностью. У него нарушения схемы. Имя его забудьте. Его спишут. Разымут или рассеют. И он не станет ни призраком, ни привидением.

Шеврикука взглянул в глаза Бордюору. В них была стужа.

— Да, у нас нет привидений, — сказал Бордюор, в интонации его Шеврикука ощутил сожаление. Или даже печаль. — У нас нет прошлого. У нас нет родословных. А какие могут быть привидения без прошлого. Иные видят в этом благо. Мол, от нас все пишется даже и не заново, а впервые. И набело. С нас начинается все. В-с-е! Прочее следует отмести и забыть. У нас нет прошлого и нет поводов для ностальгии. Для нытья. Нет груза чужих, но врученных наследием поражений, ошибок, пороков, нет слабых токов, нет связей, способных вызвать опасные и даже болезненные состояния логических систем. Все так. Все так. А вот я хотел бы, чтобы у нас были прошлое, родословные и привидения. Такой каприз. Однако накопления возникают с ходом времени. Скажите, отважный Шеврикука, у вас есть накопления?

— У меня нет накоплений, — сказал Шеврикука. — И я не давал повода называть меня отважным.

— Не давали? Тогда примите мои извинения. И у меня нет накоплений. А жаль. Вот у князей Черкасских, вы говорили, были накопления. И они схоронены где-то здесь, под нами. Под деревьями в Шереметевской дубраве. Или черниговский полковник Полуботок. В лондонских подвалах, вы полагаете, его бочка? Бессовестные британцы! А золотой запас сибирского адмирала. Где, где он? Но оставим князей Черкасских, сечевика Полуботка, несчастного адмирала. Что нам они? Так вот. Вы не накопили. Я не накопил. Мы и не копили. Но ваше, как у вас любят подчеркивать, сословие. Оно ведь существует не год, и не век, и не тысячелетие. Конечно, иные за века ничего не приобретают и не накапливают, а лишь транжирят. Пускают по ветру собранное другими, а им завещанное. Приданое-то — тем паче. Но ваше-то сословие не таково. Вы же существа хозяйственные. В картишки — ни-ни! Все — в дом, все — в избу. Иначе какие же вы домовые? Уж у вас-то точно есть накопления. На черный день! Сокровища, полагаю, поинтереснее клада князей Черкасских. А?

— Не знаю, — сказал Шеврикука. — Не уверен. Не слышал. Не удостоен знанием. Ни грош, ни сухарь из этого клада или склада мне не обещаны.

— В том вековом или бесконечном накоплении, о котором я веду речь, нет ни копеек, ни золотых монет, ни тем более сухарей. Там есть нечто, чему ни вы, ни люди, ни даже мы не способны дать истинное название. Сила Кощеева царства умещалась в игле. Даже в иголке, коли принять во внимание утиное яйцо. Да-с. У кого Игла. У кого Чаша Грааля. У кого Меч-Кладенец. А у вас что же могло быть такое замечательное?

— Половник для шей, — сказал Шеврикука. — Или большая ложка. Деревянная. Ею неразумного дитятю отец мог за столом назидать по лбу. Со звуком.

— Ну, Шеврикука... — поморщился Бордюр. — Эко вы... Здесь должно быть нечто торжественное, ритуальное, ценимое родом. То бишь сословием... Но давайте продолжим наш ряд... Приходит на ум опять же чаша... Или ендова какая-нибудь особенная... Или братина... Или даже самовар... Да... Мечей-то, конечно, у домовых не водилось. Но ведь чем-то вы, случалось, оборонялись?

— Случалось, — подтвердил Шеврикука. — Кочергой. Или скалкой. Или даже стиральной доской. Случалось, ходили и в бои. С печными ухватами. С головнями незатушенными. А то и с вилами.

— Ну да... Ну да... — вздохнул Бордюр. — Конечно...

В глазах его проявились усталость и досада, нестерпимое желание прекратить пустой разговор.

— А то и швырялись горшками. Чугунными, — вспомнил Шеврикука.

— Конечно, конечно, и горшками, — закивал Бордюр. Он опять вздохнул. — Да, эпос о домовых создать было бы чрезвычайно трудно. Ни гекзаметром, ни тонически-аллитерационным стихом, ни силлабо-тоническим. Если только раешником. Но вы и в раешники, как помнится, не попадали. Так, в устные побасенки... Н-да... И тем не менее... И тем не менее. Наши возможности — зовите нас отродьями, духами Башни, обдухами или духообами, нам не обидно, — во сто крат, да в какие там сто! — богаче возможностей ваших. И тем не менее... Вы — подвалы человека. Ну и запечье. Запечье и подполье. Вас вызывали его страхи, его заблуждения, его наивности и детские упования. А мы — подпотолочье человека. Или даже — надпотолочье. Мы над ним. Мы созданы его дерзостью, его наглостью, его куражом, его шальными забавами, его голодно-высокомерным порывом обломать рога природе. И мы уже над ним. Мы отбились от его рук. И не намерены ему служить. И тем не менее. У нас нет того, доли чего есть у вас.

— Есть прямо здесь, в Останкине? — спросил Шеврикука.

— Да. Может, именно и в Останкине.

— Сомневаюсь, — покачал головой Шеврикука.

— Я, похоже, утомил вас, — сказал Бордюр. — А вы небось собирались в Дом Привидений?

— Нет, — сказал Шеврикука, — сегодня не собирался.

— А как же бант?

— Бант — ради вас.

— Ну-ну... А Темный Угол? Он не поругивает вас за приключения, за походы к привидениям, за всякие шалости? Не грозит вам карами?

— Их ругань и кары меня не заботят, — сказал Шеврикука.

— Ой ли? Они так беспомощны? У них нет силы?

— У них есть сила. Но меня она не связывает.

— Может быть, пока? Они существа сердитые. Блюстители. Сами вызвались оберегать чистоту преданий и следований им. Им, кстати. Кощей мог бы доверить и оборону яйца с иглой? А? Не так?

— Не знаю. Это меня не волнует, — сказал Шеврикука. — И сведений о них, коли они вам нужны, я добыть бы не смог. У меня иные свойства.

— Не дуйтесь, Шеврикука, не дуйтесь! — заулыбался Бордюр. — Сейчас мы с вами закончим. И разойдемся кто куда. Но прежде я обязан передать вам слова тех, кто и попросил иметь с вами беседу. Намерения ваши, известные в их внешних проявлениях, приняты к сведению. И решено: не перечеркнуть и не размыть. Вас. Пока. И не сказано вам: изыдь и отведи от нас взор. А сказано: ступай и живи, как прежде. И жди. Вдруг что и случится. И призовут. Или посоветуют. А там поглядят.

— Назначат приглядный срок? — спросил Шеврикука.

— Это не ко мне, — сказал Бордюр. — Скажу лишь: вы рискуете и чрезвычайно. Надеюсь, понимаете... Да, к вам приглядятся. И вы при-

глядитесь. Хотя вам будет труднее. Вы не на равных. Еще и потому, что вы линейны. А мы нелинейны.

— Не в Останкине судить, — сказал Шеврикука, — кто линейен, а кто нелинейен. И что проку, что кто-то линейен, а кто-то нелинейен. И потом — все это слова и обозначения. А близки ли они к истине? Вряд ли.

— Вот как? — Бордюру, показалось Шеврикуке, впервые всерьез посмотрел ему в глаза. И долго смотрел. Будто изучал глазное дно.

— Я не собирался более жить среди домовых в Останкине, — сказал Шеврикука. — Причина менее всего в том, что я обидчивый и не люблю оскорбления. Мне надоело. Я понимаю, что для вас я трава сорная, к тому же и перебежчик или способный переметнуться. Я никогда не буду с вами на равных, но я готов к своему положению. Вам же авось на что-нибудь сгожусь. Но если я не нужен, объявите. Я иначе буду жить.

— Вы нетерпеливый, — заговорил Бордюру. — Вы нетерпеливый! Это нам известно. А у нас не сразу дают подписывать бумаги, за нарушение правил которых полагается взыскивать кровью.

— Я, может быть, и не намерен подписывать какие-либо ваши бумаги, — сказал Шеврикука. — Вы подумайте о своей пользе.

— Вы самонадеянный. Если не наглый. Или неумный, — сказал Бордюру. — «Бумаги», «кровь», «подписывать» — это все из условностей. По нашим положениям, для нас разумным, а для вас, возможно, ледяным и безжалостным, вы уже без всяких подписей и бумаг вступили в поле внимания Танталова луча. Одно мгновение — и... То есть и одного мгновения не надо.

— Хорошо, — сказал Шеврикука. — Я буду жить в Землескребе. И буду ждать.

— Ждите. И еще я уполномочен произнести некоторые слова. Кандидат наук Мельников проживает в ваших подъездах? Человек он примечательный. И лаборатория у него примечательная. В квартире его вы могли бы бывать почаще. Может, и повстречались бы раньше с дамой Совокупеевой. А? Не так? — И тут Бордюру подмигнул Шеврикуке снова с одобрением: мол, и я такой же ухарь-купец, и я не прочь, коли подвернется случай. — И некий Радлугин ваш жилец? Вот и еще один объект, достойный вашего обозрения. И инженер Подмолотов, он же Крейсера Грозный, ваш. Видите, какой многоцветный букет для вас нарвали. Или какую преподнесли вам корзину с фруктами. Да. Именно. С фруктами. Ведь и чиновник Фруктов жил у вас. Добавьте в ту же корзину еще и Дударева, соперника Свержова и их коллегу Бордюкова, хотя эти трое и проживают в чужих подъездах. Н-да. А коли Крейсера Грозный ваш, то, стало быть, и Анаконда ваша. А что это у вас, сударь Шеврикука, бант вдруг развязался? — в голосе Бордюра было не только изумление, но и сочувствие Шеврикуке.

— Как?.. То есть?.. — растерялся Шеврикука. — Действительно...

— Взял вдруг и развязался. — Теперь Бордюр, похоже, радовался. — От волнения, что ли? Или по другой причине?

— Извините, я сейчас завяжу...

— Не надо! Не надо! Ни в коем случае! — вскричал Бордюр будто в испуге. — И так замечательно! Завяжете не здесь, а дома! Дома! Домой и отправляйтесь!

— Но ведь мы высоко... — сказал Шеврикука. — Да, высоко! Да, кувыркаемся! — все еще кричал Бордюр. — Что из этого? Вы сейчас закроете глаза и отправитесь.

— Покедова, — сказал Шеврикука.

— Погодите! Пойдите! Покедова оставьте при себе. Мы с вами более не столкнемся.

— Не уверен.

— Не перебивайте меня! Знак отсюда или сигнал получите способом особенным. Этот вонючий полуфабрикат к вам более не явится. Живите внимательно и помните, что здесь влажных чувств не держат. Теперь закрывайте глаза! Но не спеша!

Спешил бы или не спешил Шеврикука, но много ли надо времени, чтобы опустить веки? Крохи его. И вот в эти крохи Шеврикука все же смог угледеть, что с собеседником его случилось приключение. Он и секундами раньше, показалось Шеврикуке, будто стал терять в весе и в ширине плеч, да и лицо его принялось утончаться. А в миги прощания (коли «покедова» было отклонено с укоризной) существо, собеседовавшее с Шеврикукой, превратилось в нечто узкое и протяженное, то ли в полосу серую с чередой бегущих темно-синих треугольников (начальственно-серым был костюм Бордюра, а синим — галстук), то ли в плотно-жесткий опояс, должный все ограничивать, держать в сбережении, чтобы не расползлось, не потеряло линию, форму или даже красоту. И тут ресницы Шеврикуки сомкнулись.

8

Расклеить их удалось не сразу. Не дождавшись приглашения «Открывайте!», Шеврикука сам дал команду глазам. А их будто заклеили пластырем. И точно, пластырь на глазах был. Шеврикуке с болью и ворчанием пришлось его отдирать.

Стоял он в квартире пенсионеров Уткиных, в Землескребе. Черная бархатная лента, переставшая быть бантом, свисала с плеча. Шеврикука выругался, стянул, сорвал с себя бархат, чуть ли не с брезгливостью, будто на него залез змей, объявившийся уже в Останкине, швырнул его на диван.

И сам сел на диван.

«Надо успокоиться, а что же за тварь ты такая, эго трясешься, — отчитывал себя Шеврикука. — Ведь живой! Ведь живым оставлен! Живым!»

И успокоился.

«Значит, они мне, — думал далее Шеврикука, — решили установить направление мыслей и действий... Ну что ж, может, оно и к лучшему... Конечно, направление это выгодно им, оно — для их целей, догадок, шарад и корысти. Но ведь и у меня не выжжено соображение. Не выжжено совсем-то... Они и это имели в виду, и понятно, в их сетях — ячейки на всякие случаи. И тут, впрочем, новостей нет. А коли не раздавят, опять будем живы. Глядишь, и отворят калитку. Ну а дальше? Нужна ли тебе отворенная калитка? Ведь снова бежишь к ней именно по дурости, именно по безрассудству!»

Всем изгибам нынешнего собеседования Шеврикука мог найти толкование. И выбор вагончика с кувырканиями и полетами его не удивил. Хотя, возможно, никаких полетов и кувырканий вовсе не было, кого-кого, а специалистов по изобразительному ряду и эффектам на Башне хватало! Ну и их это дело! А вот отчего так взволновал духобашенного Бордюра черный бархатный бант, Шеврикука истолковать не мог.

А бант Бордюра не то чтобы взволновал. Похоже, расстроил. Или даже напугал. Говорить-то Бордюру говорил, и все, видно, по делу, ничего не упускал, но бант его явно смущал. Либо раздражал. Бордюру будто силу какую-то желал применить к банту, Шеврикука это порой чувствовал. А когда усилие было приложено, бант развязался, Бордюру чуть ли не возликовал. Но и утомился. Крики его нервные в конце разговора, скорее всего, были вызваны расходом сил, вряд ли предвиденным.

Впрочем, возможно, Шеврикука все это вообразил. Ну язвил Бордюру про бант, ну развязалась лента, возможно, оттого, что он, Шеврикука, вертел в волнении шеей. Но зачем он надел этот идиотский бант? И еще именно черный, а не фиолетовый или желтый? С перепоя? Или в самом деле по дурости? Или по некой невысказанной подсказке? Бесспорных объяснений дать себе Шеврикука так и не смог. Как не смог и даже выстроить варианты предположений, отчего обеспокоился Бордюру. Про себя же, поразмыслив, постановил: да, с перепоя и по дурости.

Глаза у Бордюра были синие, вспомнилось Шеврикуке. Ну и что? К непременно серому костюму московского чиновника, или дельца, или трибуна средней ценности синие глаза весьма подходили. И галстук ему повязали темно-синий. Знали, какой образ лепили и зачем. Нет, осадил себя Шеврикука, не то, не то. Тут иное... А! Вот что! У того-то, к кому приволокли Шеврикуку пушистые щекотихи с целлулоидно-кукольными голосами, у того-то однажды за пластинами гармони проступила синева глаз! Опять же ерунда! Мало ли что и с какой целью предьявляют или приоткрывают ему, Шеврикуке! Да пусть тот собеседник и Бордюру — одно лицо, или одно существо, или одна субстанция («А что это — субстанция?» — задумалось Шеврикука), или одна идея. Пусть! Какое это имеет значение! И пусть недотепа курьер

(или не курьер) Пэрст-Капсула — тоже Бордюр! Какое это имеет значение!

«Никакого, — вздохнул Шеврикука. — Почти никакого... — Потом подумал: — И сидят они теперь над детекторами лжи, разбираются в крючках...» Сразу же поехидничал над самим собой: «Голова садовая! Детекторы лжи для них — четырнадцатый век!»

Кстати, он им почти и не лгал.

А бархатную ленту следовало сейчас же растоптать, сжечь, разжевать и выплюнуть! Ну не сжечь и не растоптать, а удалить с глаз долой. И навсегда. Что Шеврикука безотлагательно и сделал. Упрятал кусок бархата в укромное место, откуда брал. Не в его привычках было выбрасывать тряпки, пусть ему и противные.

Однако мы, видно, и впрямь летали и кувыркались, вынужден был признать Шеврикука, голову-то вон как крутит, этак вывернет. Сказывалось, понятно, и вчерашнее нарушение режима, но и условия беседы с Бордюром пока напоминали о себе. Шеврикука отправился во двор, сел на скамейку, думать более ни о чем не желая.

А на дворе была ночь, черно-синяя, душная, тихая. Никто в домах не голосил, не выпускал в пространство с цепей звуковых дорожек горластых мужиков и дев, не звякал в кустарниках насаждений стеклянной посудой, не щипал барышень, не материл президентов. Это была ночь одиночества. И Шеврикука опять ощутил, что он в мире один.

— Шеврикука... — донеслось из-за мусорного ящика.

Шеврикука повернул голову вправо, но ни звука не издал.

— Шеврикука... — Голос (почти шепот) был робкий, будто отстеганный кнутом, но слова произносились внятно. — Шеврикука, позвольте к вам приблизиться.... Я подползу... На мгновение...

Шеврикука молчал. Запрета не последовало. И нечто подползло.

— Это я... Пэрст...

«Брысь! Пшел отсюда!» — следовало бы цыкнуть. Но Шеврикука не цыкнул.

— Вы были сегодня у квинта и вернулись... — зашептал Пэрст-Капсула. — Я не думал, что вы вернетесь. А вы вернулись... А я... А со мной...

— У кого я был? — не выдержал Шеврикука. И тем самым вступил в разговор, участвовать в котором не должен был себе позволить.

— У квинта... У одного из квинтов... У одного из квинтэссенсов...

— Встань. Раз уж... Что ты валяешься-то. Садись.

Пэрст-Капсула привстал и бочком уселся неподалеку. Шеврикука не хотел, но зажал ноздри и чуть было не отъехал к краю скамейки. Однако пахло от Капсулы редким и драгоценным нынче, как белужий бок, куаферским одеколоном «Полет».

— Да, — подтвердил Пэрст-Капсула. — Отскребся. В химических чистках и татарских парных. Теперь не стыдно... Перед концом. Слово в белой рубахе...

— Ну! Ну! Мужик! Брось! — стараясь быть грубоватым, решил подбодрить Капсулу Шеврикука. — Не раскисай. Никому не дано знать... А что отскребся, похвально. И вот одеколон добыл.

— Хотите, и вам открою, как добыть.

— Нет, нет! — заторопился Шеврикука. — Я не к тому.

— А знать мне дано, — с печалью сказал Пэрст-Капсула. — Дано. Последняя ночь. А я не хочу. На мне нет вины. И мне горько.

— Я не судья, — глухо произнес Шеврикука.

— Да. Это так. Но вы вернулись. И вы останетесь.

— Надолго ли?

— Пусть и ненадолго. Поэтому я здесь. Это не должно пропасть. И я принес вам...

— Чего еще? — насторожился Шеврикука.

Пэрст-Капсула протянул к нему руку, разжал пальцы. На ладони его что-то лежало. Одно, рассмотрел Шеврикука, — круглое, другое — продолговатое, чуть закрученное по краям.

— Я не возьму, — сказал Шеврикука.

Теперь он впрямь отодвинулся от духа.

— Но ведь пропадет...

— Мне велели это передать? — спросил Шеврикука.

— Нет. Никто не велел. Это я. Это мое.

— Не возьму! — сказал Шеврикука нервно. — Ни за что! Мне не надо!

— Но ведь пропадет! — взмолился Пэрст-Капсула. — Или учуют, захватят и наделают плохих дел. И не расхлебашь!

Шеврикука и во тьме, в черной черноте черной комнаты все мог увидеть, теперь же он хотел узнать, синие ли у Капсулы глаза, но тот наклонил голову, в прощальный раз рассматривая свои ценности. Как будто бы не синие, как будто бы темнее... Но что из того! Что из того!

— Откуда происходят?

— Это мое.

— Ворованное? — сурово спросил Шеврикука.

— Нет! Это мое! — обиделся Пэрст-Капсула. — Откуда, не могу сообщить.

И Шеврикука взял.

Не мог брать. Не должен был брать. Но взял. Предметы были тяжелые. Металлические. Весомее золота. Руку Шеврикуки потянуло вниз.

— Ну и что? — сказал Шеврикука. — Вроде монета. Морда на ней чья-то с коротким волосом. На обороте — лист растения. Или, может, не монета, а жетон. Бывало, сунешь такой куда-нибудь в отверстие, а тебе нальют пива. Или керосина. Не фальшивая? На зуб пробовал?

— Не фальшивая.

— А это что-то продолговатое, крученное по краям. Смахивает на лошадиную голову.

— Да, — кивнул Пэрст-Капсула. — Похоже на лошадиную голову.

— Ну и что? Для чего это? И что с ним делать?

ПРИМЕЧАНИЯ

1

Тут я должен заметить, что рассказываю о событиях, какие происходили, а скорее всего не происходили, в 1972 году. Тогда еще можно было париться в Марьинских банях, а теперь нет Марьинских бань. И жэк № 21 перевели из дома с башенкой, а дом за ветхостью снесли. И острова Сан-Томе и Принсипи находились тогда во владении Португалии, еще не подозревавшей о 25 апреля 1974 года. Прошу принять это во внимание. *(Примеч. автора.)*

2

А что касается Мадрида, то учтите, что и там семьдесят второй год. У «Калибра» еще стоят Марьинские бани, а в Мадриде живет каудильо. Понятно, что дельцы типа Бурнабито процветают. Это я так, к слову. *(Примеч. автора.)*

3

Снесли наконец эти дома-то. Зимой семьдесят шестого года и снесли. Теперь строят новые. *(Примеч. автора.)*

4

Сразу же должен сообщить, что события эти происходили, а может быть, и не происходили в Останкине в 1975 году. *(Примеч. здесь и дальше автора.)*

5

Прошу обратить внимание и на то, что сумма собиралась, характерная для воскресного дня именно семьдесят пятого года.

6

Должен заметить, что сам я ни про какого Уриэрте и ни про каких других политиканов из Гондураса не слышал. Возможно, и дядя Валя

напрасно сгоряча приписал этого Уриэрте Гондурасу. Но для Валентина Федоровича Уриэрте несомненно существовал.

7

А его там, скорее всего, и не было.

8

Теперь стараются, но не спеша.

9

Автор просит не путать тружеников Института хвостов (которого, может, и вовсе нет в Москве) с уважаемыми врачами, об операциях которых по пересадке сердца, почек и печени все наслышаны. Да и самую важную идею трансплантации жизненно необходимых органов автор, естественно, не ставит под сомнение, напротив...

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЬТИСТ ДАНИЛОВ	7
АПТЕКАРЬ	355
ШЕВРИКУКА, или ЛЮБОВЬ К ПРИВИДЕНИЮ	765
Примечания	1276